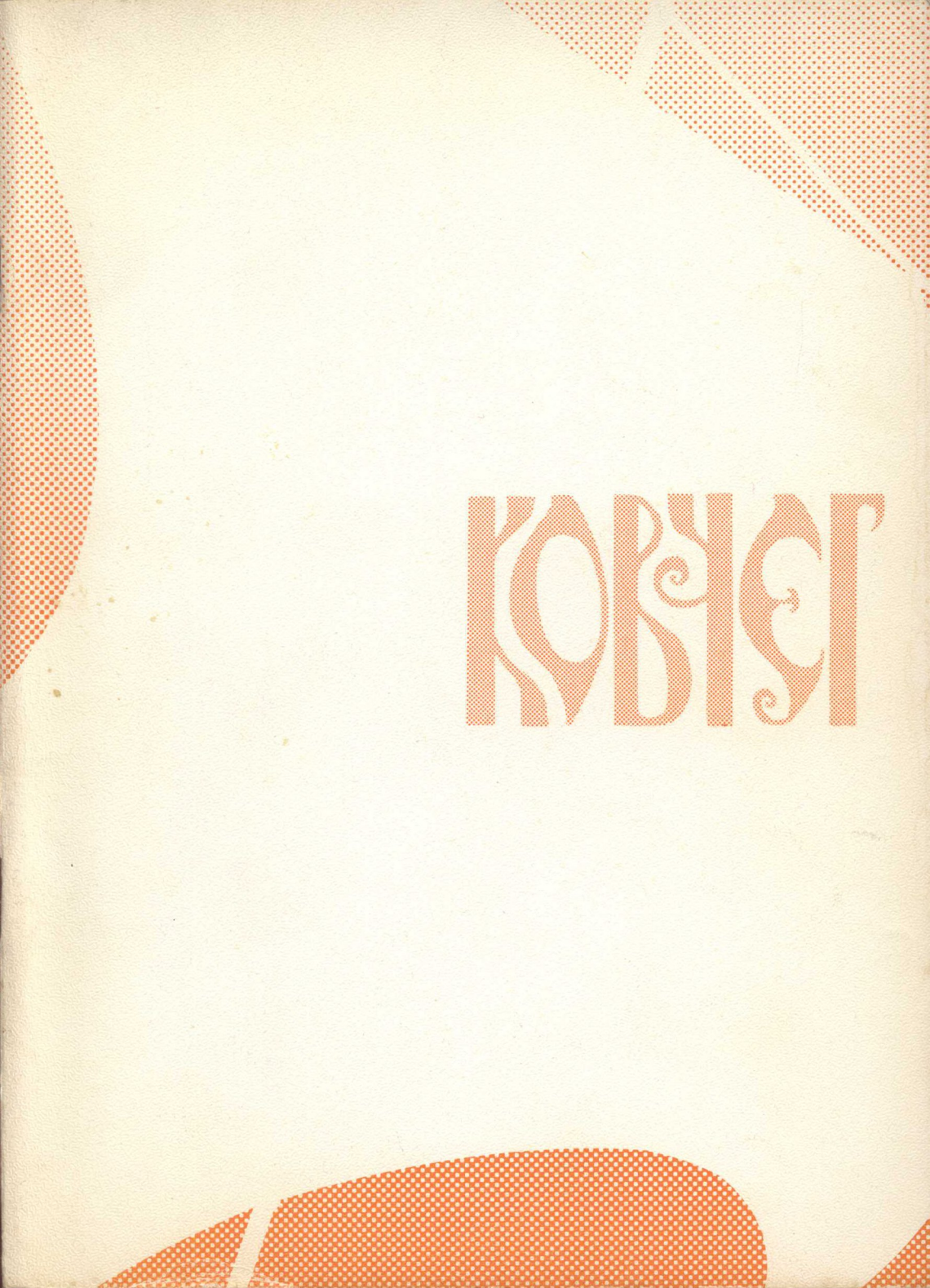


The image features a light cream-colored background with stylized orange halftone patterns in the corners. A large semi-circular pattern is on the left, and a triangular pattern is in the top right. A curved pattern is at the bottom. The word "КОБЫС" is printed in a bold, stylized orange font in the center-right.

КОБЫС

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Сказка про Ваську Немешаева Городского вора . . . 3

(Публикация К. Кузьминского)

Эдуард Лимонов. Это я — Эдичка . . . 9

Арвид Крон. Про бабочку поэтиного сердца . . . 89

КОВЧЕГ

Литературный журнал

№ 3

Париж

Под редакцией А. Крона и Н. Бокова

Обложка Ольги Барышевой

Произведения авторов, проживающих на территории
Советского Союза, печатаются без их ведома.

© 1979 The Ark and its contributors.

Адреса для переписки :

N. Bokov

Château du Moulin de Senlis, 91230 Montgeron, France

A. Kron

34, rue Popincourt, 75011 Paris, France

СКАЗКА ПРО ВАСЬКУ НЕМЕШАЕВА ГОРОДСКОГО ВОРА

Предупреждение читателя

Предлагаемый вариант сказочки Марьяны Родионовны записан со слов Валяй-Гордона, филолога и историка, прошедшего в местах не сказочных, в общей сложности, 11 лет. Анекдот живуч, зато сказка — смертна. Прошедшая через тысячи рук, попала она, наконец, в мои. Я ее и публикую, поскольку больше некому.

Константин Кузьминский

•

В городе Питере, на Фонтанкиной улице 32, третий двор налево (что близ дому бывшего графа Шереметьева) жил да был Васька Немешаев — Городской Вор.

Вот раз, опосля фарту-удачи идет он по Невскому, а навстречу ему гроб везут с упокойником, а граждане сопровождающие рядом идут и по гробу палками колошматят. Удивился Васька.

— Это за что ж вы его так ?

А граждане сопровождающие объясняют, что потому они его колошматят, что упокойник должен им остался тысячу рублёв.

— Тьфу, — удивился Васька, — только-то и всего ?...

Отдал он им тысячу рублёв, велел похоронить покойничка чинчинариком, а сам к себе пошел — на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево). Сидит с марусей своей, чай в приглядку пьют. Маруся его ругает почем зря !...

Только вдруг дверь открывается, добрый молодец является, кудри русые по плечам бегут.

— Ты, — говорит, — будешь Васька Немешаев — Городской Вор ?

— Ну я, — отвечает Васька. А сам за шпалер держится...

— А я, — говорит добрый молодец, — есть Ванька — Деревенский Вор. И хочу, — говорит, — я иди к тебе в сотоварищи.

— Что ж, — говорит Васька, — иди, коли не шутишь. Садись, гостем будешь. Не обессудь на угощении.

Вот и стали они жить вместе.

На другой день идут это они в Пассаж, пошмонали маленько, потом к

Елисееву. Перцовочки купили, тюльки в томате, лимончиков. На трамвайчик, да и в Шувалово... Сидят это они на кладбище, прохлаждаются — солнышко светит, птички поют, — пьют-закусывают...

Только вдруг на сосне Попугай-Птица загукала ! Вынимал тут Ванька — Деревенский Вор тугой лук, накладал на него стрелу каленую, пушал калену стрелу ! Убил Попугай-Птицу !

— Лезь, — грит, — Васька, на сосну, да смотри, што у ей там в гнезде !

Полез Васька.

— Тут, — грит, — у ей в гнезде клубок.

— А не простой то клубок, друг Васечка, — отвечает ему Ванька — Деревенский Вор, — а Попугайный. А еще, — говорит, — што ?

— А еще, — говорит Васька, — ключи.

— А не простые то ключи, друг Васечка, а Попугайные.

Слез Вася. Перцовочку допили, лимончиком закусили — и в город ! Идут к государственному Банку. Перед Банком, значит, забор. А перед забором часовой туды-сюды бегаёт.

Ванька и говорит ему :

— А дозволю, гражданин начальник, середнячком несознательным на государственный Банк полюбоваться.

— Нечего тут любоваться ! — отвечает им часовой. — Тут учреждения казенная ! А ну давай отседава !

Ну тут Ванька червончик из-под полы вытягает, да часовому и показывает. А на червончике, известное, дело, надпись : " Пролетарии всех стран, соединяйтесь ! " Часовой оглянулся, червончик в карман поклат да и говорит :

— Ладно, перелетайте, раз такое дело, и соединяйтесь. Да только побыстрому !

Ванька с Васькой через забор перелетели, соединились... Ваня клубок достает, за трубу его закидает.

— Лезь, — говорит, — Вася !

— А как обернись ?

— Не бойсь, друг Васечка, — говорит ему Ванька — Деревенский Вор, — не простой то клубок, а Попугайный !

Полез Васька. Ванька, значит, за ним. На крышу залезли, Попугайные Ключи Ванька достает, круг обводит — дыра и открылась. Залезли они, значит, в дыру, сейфы повыгребли, и к себе — на Фонтанкину улицу 32 (третий двор налево).

Пьют, гуляют, марусь назвали !...

А промеж тем Зиновьев идет к себе в государственный Банк доглядеть — как, мол, у него там и што...Глядь — дыра ! А под дырой ну все как есть чисто !... Ух, и рассердился Зиновьев ! Со злости по Смольному сам себе навстречу бегаёт !

А в те поры в погребке за семью замками, за девятью печатями от Старого Режиму сохранялся у Зиновьева Федька — Санкт-Петербургский Вор.

Вот и кличет Зиновьев :

— Привести, — кричит, — сей момент сюды ко мне Федьку — Санкт-Петербургского Вора !

Привели к нему Федьку (а у того по плечи уже и грибы растут)... Берут, значит, Федьку под белые руки, сажают его в броневичок, везут в государственный Банк, показывают — так, мол, и так...

Поглядел Федька.

— Э-э, — говорит, — тут дело тонкое. Не простой тут вор, видать, работал, а с Попугайными Ключами. И ловить его, Зиновьев, надобно беспрерывно не иначе, как на Именного Коммунистического Козла с Золотыми Рогами.

Так и сел Зиновьев !

— Это ж откуда ты про такое слыхал ? !

— Да уж прослышавши...

Ну-с, скоро сказка сказывается, еще быстрее дело делается... Только наутро музыка играет — ведут по Невскому Именного Коммунистического Козла с Золотыми Рогами ! Впереди Милиция, Юстиция, Прокуратура, Провокатура... и Живая Церковь сзади !

Только на Литейный поворотили, а Ванька с Васькой навстречу. Васька так рот и разинул.

— Ух, — шепчет, — вот это да ! А и до чего ж козлятинки охота, так это страсть...

— Ну что ж, — отвечает Ванька, — Эта можна...

Шапку сымает, кланяется и говорит :

— А дозвоьте, — говорит, — граждане начальнички, середнячкам несознательным на диво такое удивительное полюбоваться !...

— Ну что ж, — отвечают Милиция с Юстицией, — любуйтесь.

(А сами переглядываются...)

А Ванька и говорит :

— А дозвоьте, — говорит, — граждане начальнички, и в гости вас пригласить. Тут близенько. Да чем Бог послал, дорогих гостей попочевать.

— Что ж, — отвечают Прокуратура с Провокатурой, — чего ж не пойти ? Можно и пойти...

(А от Зиновьева им приказ вышел : коли звать куда будут, идти беспрерывно).

Заворачивают они, стало быть, на Фонтанкину улицу 32, третий двор налево — и Милиция, и Юстиция, и Прокуратура и Провокатура... и Живая Церковь сзади... Козла в сарайчик, а сами в дом.

А маруся ихняя промеж тем в сарайчик взошла, Козла зарезала, шкуру на гвоздик, рога в сундук, Козлятинку сварила и на стол подает.

— Не побрезгуйте, — говорит, — дорогие гости, на угощении. Отведайте, — говорит, — козлятинки,

А те едят, пьют, а сами переглядываются.

Попили, поели и за ворота. И мелом на воротах надпись сделали : " Мы здесь были, — козлятину ели ".

И в Смольный !

А Ванька с Васькой промеж тем вышли пройтись. Глядь — на воротах надпись : " Мы здесь были — козлятину ели ". Ну, тут Ванька берет мел да скрозь по всей Фонтанкиной улице — и на воротах бывшего графа Шереметьева и скрозь, до Чернышева моста везде отписал : " Мы здесь

были — козлятину ели ”, ” Мы здесь были — козлятину ели ”...

Тут и часу не проходит, как идет Зиновьев Ваську с Ванькой братъ. С ним Милиция и Юстиция, Прокуратура, Провокатура... и Живая Церковь сзади. Глядь — надпись на воротах : ” Мы здесь были — козлятину ели ”.

— Ага ! — кричит Зиновьев. — Попались, голубчики ! Хватай их, ребята !

Только глядят — и на этих воротах тожеть самое, и на тех... *

Ух и рассердился Зиновьев ! По Смольному сам себе навстречу бегаёт !

— Позвать, — кричит, — ко мне сюда Федьку — Санкт-Петербургского Вора !

Привели Федьку.

— Ты что ж, — кричит Зиновьев, — такой-сякой, контра окаянная, Именно Коммунистического Козла зазря погубил ? ! А ? !

— Э-э... — говорит тут Федька — Санкт-Петербургский Вор, — Не простой тут вор, видать, работал, а Битый. И ловить его надобно на Бочку с Патокой...

Ну-с, скоро сказка сказывается, еще быстрее дело делается, только деньги у Васьки с Ванькой вскорости все повывелись. И глядят они — не иначе, как опять надо идти государственный Банк братъ. Пришли. Перелетели, значит, соединились... На крышу залезли, Попугайны Ключи поднесли, Васька в дыру полез... А под дырой в те поры у Зиновьева, как Федька его научил, Бочка с Патокой стоит заготовленная. Васька в нее и угодил.

Ванька видит — дело плохо. Он, однако ж, не теряется, ножик достает, голову Ваське с буйных плеч сымает, в мешок кладет, все чисто сейфы счисляет, и к себе на Фонтанкину улицу, 32, третий двор налево. Голову в банку с брусничной водой заложил, бумажкой прикрыл, веревочкой завязал и на полочку.

А Зиновьев наутро в государственный Банк — шашть ! Глядь — в Банке чистота ! Только Бочка с Патокой под дырой стоит, а в ей Безымянное Тулово при часах и цепочке, — ни головы, ни документов нет...

— Позвать, — кричит Зиновьев, — сюда Федьку — Санкт-Петербургского Вора, так его и раззтак !...

Привели Федьку.

— Э-э, — говорит Федька, — Не простой тут вор, видать, работал, а со товарищем. А ты, Зиновьев, не колготись. А делай вот как...

Ну и научил, как и что...

А на другой день Ванька с дому выходит поглядеть, как, мол, и што... Подходит он к Троицкому мосту, что у памятника бывшему графу Суворову. Глядь — так и есть : Бочка с Патокой стоит, в бочке Безымянное Тулово при часах и цепочке (ни головы, ни документов нет), а вокруг Двенадцать Красных Командиров ходют, в ладоши бьют, ногами топают... Стерегут ее, значит.

Ванька быстренько домой, лошадку запрягает, четверть самогону-первачку, и к Марсову !... Только к мосту поворотил (а погода в те поры холодная — гололед с гололедицей) — на мост ну никак — не вывезет лошадка...

Ванька и говорит :

— Граждане начальники ! Пособите середнячку ! Ну и самогончику, знамо дело поднесем. Первак...

Двенадцать Красных Командиров переглядываются — как не пособить ?... И самогончик не плох — первак (а холод лютый, шинелишки худые, сапожки тонкие)...

Ну-с, скоро сказка сказывается, еще быстрее дело делается, сколько времени прошло — много, мало ли — я не ведаю, а только лежат мои Двенадцать Красных Командиров звездой — ножки вместе, головки врозь, а Бочки с Патокой след простыл.

Кличет Зиновьев :

— Позвать сюда Федьку !

Привели Федьку. Посмотрел он кругом, почесал в затылке.

— Да, — говорит, — промашка вышла...

Ну, его, само собой, в погреб, а Зиновьев, сердешный, убивается ! Волосья на себе рвет, ногами топает, а делать-то што ? Делать нечего.

А Ванька промеж тем бочку домой на Фонтанкину улицу 32, третий двор налево, привозит, баночку с полки достает, голову тряпочкой чистой обтер, к тулову приложил, Попугайными Ключами обвел — ожил Вася !

Живет. День живет, другой живет...

Только видит Иван, что друг его любимый Вася скушен не весел, ниже плеч буйну голову повесил.

Спрашивает его Иван : " Чего это, мол, ты не весел ? " А Вася и отвечает :

— А то я не весел, друг Ванечка, что покамест я у тебя в банке с брусничной водой содержался, такая мне сласть приснилась, что ни в сказке сказать, ни пером описать !

— А и что ж тебе приснилось, друг мой Васечка ?

— А то мне приснилось, Ванечка, — говорит Василий, — что будто бы у Зиновьева за семью замками, за девятью печатями от Старого Режиму Краса Царевна сохраняется.

— Хм, — отвечает Иван, — а ведь есть такая Царевна.

Ну, тут Вася еще пуще убивается, горячими слезами обливается !

— Охота, — говорит, — смертная мне, добру молодцу, на красу ее ненаглядную полюбоваться.

— Тю ! За чам же дело стало ?

Ну-с, скоро сказка сказывается, еще быстрее дело делается... Только на другое утро Краса — Царевна просыпается, а над ней добрый молодец склоняется, в уста сахарные ее целует ! Быстренько ее на Фонтанкину улицу 32, третий двор налево, честным пирком да и за свадебку ! Пьют, гуляют...

... Вот и полночь настает.

Гости осовели...

За рекой петух поет

с цирку Чинизелли...

Только вдруг встает Иван. Василий кричит :

— Ваня ! Друг ! Выпьем !

А Иван ему отвечает глухо этак (а с лица, как вроде бы и не сам):

— Мне, — говорит, — пора...

Василий даже протрезвел маленько.

— Куда это, — говорит, — пора ?

— На Смоленское.

Так и сел Василий !

— То исть как ?... На какое такое Смоленское ? !

(А Царевна, так та и вовсе глазами лупает...)

— А помнишь, — говорит Иван, — упокойника, которого ты от долгу ослобонил ?

— Ну, помню...

— Так это вот, — говорит Иван, — я и был.

Сказал и сгинул.

Эдуард Лимонов

ЭТО Я — ЭДИЧКА



Фото Л. Лубяницкого

Роман печатается в сильно урезанном виде : главы 6,9,10 опущены, остальные сокращены из соображений объема. Никакой целенаправленной цензуры не производилось, поскольку "Ковчег" подобным делом не занимается. Исключения составляют несколько опущенных нами враждебных по отношению к определенному лицу фраз, причем автор нигде не приводит фактов, оправдывающих свою антипатию, кроме того, опущен абзац, который может быть воспринят как оскорбительный для Солженицына, опять-таки не содержащий никакой конкретной критики в адрес последнего.

ОТЕЛЬ "ВИНСЛОУ" И ЕГО ОБИТАТЕЛИ

Проходя между часом дня и тремя по Мэдйсон-авеню, там где ее пересекает 55-я улица, не поленитесь, задержите голову и взгляните вверх — на немые окна черного здания отеля "Винслоу". Там, на последнем, 16-ом этаже, на среднем, одном из трех балконов гостиницы сижу полуголый я. Обычно я ем щи, и одновременно меня обжигает солнце, до которого я большой охотник. Щи с кислой капустой моя обычная пища, я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и кроме щей почти ничего не ем. Ложка, которой я ем щи — деревянная и привезена из России. Она разукрашена золотыми, алыми и черными цветами.

Окружающие оффисы своими дымчатыми стеклами-стенами — тысячью глаз клерков, секретарш и менеджеров глазют на меня. Почти, а иногда вовсе голый человек, едящий щи из кастрюли. Они, впрочем, не знают, что это щи. Видят, что раз в два дня человек готовит тут же на балконе в огромной кастрюле, на электрической плитке что-то варварское, испускающее дым. Когда-то я жрал еще курицу, но потом жрать курицу перестал. Преимущества щей такие, их пять : 1. Стоят очень дешево, два-три доллара обходится кастрюля, а кастрюли хватает на два дня ! 2. Не скисают вне холодильника даже в большую жару. 3. Готовятся быстро — всего полтора часа. 4. Можно и нужно жрать их холодными. 5. Нет лучше пищи для лета, потому как кислые.

Я, задыхаясь, жру голый на балконе. Я не стесняюсь этих неизвестных мне людей в оффисах и их глаз. Иногда я еще вешаю на гвоздь, вбитый в раму окна, маленький зеленый батарейный транзистор, подаренный мне Алешкой Славковым — поэтом, собирающимся стать иезуитом. Увеселяю принятие пищи музыкой. Предпочитаю испанскую станцию. Я не стеснительный. Я часто вожусь с голой жопой и бледным на фоне всего остального тела членом в своей неглубокой комнатке, и мне плевать, видят они меня или не видят, клерки, секретарши и менеджеры. Скорее я хотел бы, чтобы видели. Они, наверное, ко мне уже привыкли и, может быть, скучают в те дни, когда я не выползаю на свой балкон. Я думаю, они называют меня — "этот крейзи напротив".

Комнатка моя имеет 4 шага в длину и 3 в ширину. На стенах, прикрывая пятна, оставшиеся от прежних жильцов, висят : большой портрет Мао Цзэ-дуна — предмет ужаса для всех людей, которые заходят ко мне ; портрет Патриции Херст ; моя собственная фотография на фоне икон и кирпичной стены, а я с толстым томом, может быть, словарь или библия, в руках, и в пиджаке из 114 кусочков, который сшил сам — Лимонов, монстр из прошлого ; портрет Андре Бретона, основателя сюрреалистической школы, который я вожу с собой уже много лет и которого Андре Бретона обычно никто

из приходящих ко мне не знает; призыв защищать гражданские права педерастов; еще какие-то призывы, в том числе плакат, призывающий голосовать за партийных кандидатов "социал воркерс"; картины моего друга художника Хачатуряна и множество мелких бумажек. В изголовье кровати у меня плакат — "За Вашу и Нашу свободу", оставшийся от демонстрации у здания "Нью-Йорк Таймс". Дополняют декоративное убранство стен две полки с книгами. В основном поэзия.

Я получаю Вэлфэр. Я живу на вашем иждивении, вы платите налоги, а я ни хуя не делаю, живу два раза в месяц в просторный и чистый оффис на Бродвее 1515 и получаю свои чеки.

Я вам не нравлюсь? Вы не хотите платить? Это еще очень мало — 278 долларов в месяц. Не хотите платить. А на хуя Вы меня вызвали, выманили сюда из России, вместе с толпой евреев? Предъявляйте претензии к вашей пропаганде, она у вас слишком сильная. Это она, а не я, опустошает ваши карманы.

Кто я там был? Какая разница, что от этого изменится. Я как всегда ненавижу прошлое во имя настоящего. Ну, я был поэт, поэт я был, раз уж вам хочется знать кто, неофициальный поэт был, подпольный, было да сплыло, а теперь я один из ваших, я подонок, я тот, кого вы кормите щами, кого вы поите дешевым и дрянным калифорнийским вином — 3,59 галлоновая бутылка.

Отель "Винслоу" — это мрачное, черное 16-этажное здание, наверное самое черное на Мэдисон-авеню. Надпись сверху вниз по всему фасаду гласит "ВИНСЛ У" — выпала буква "О". Когда? Может быть, 50 лет назад. Я поселился в отеле случайно, в марте, после моей трагедии, меня оставила моя жена Елена. Измученный штатаниями по Нью-Йорку, со стоптанными и разбитыми в кровь ногами, ночуя каждый раз на новом месте, порой на улице, я был наконец подобран бывшим диссидентом и бывшим конюхом московского ипподрома, самым первым стипендиатом Вэлфэровской премии (он гордится, что первым из русских освоил Вэлфэр) — толстым, неопрятным и сопящим Алешкой Шнеерзоном, "Спасителем", отведен в Вэлфэр-центр на 31 улице за руку, и в один день экстренно получил пособие, которое хотя и опустило меня на дно жизни, сделало бесправным и презираемым, но я ебал ваши права, зато мне не нужно добывать себе на хлеб и комматенку, и я могу спокойно писать свои стихи, которые ни здесь, в вашей Америке, ни там, в СССР, на хуй не нужны. 16-ый этаж весь состоит из клеток, как, впрочем, и многие другие этажи. Когда я, знакомясь, называю место, где я живу, на меня смотрят с уважением. Мало кто знает, что в таком месте еще сохранился старый грязный отелишко, населенный бедными стариками и старушками и одинокими евреями из России, где едва ли в половине номеров есть душ и туалет.

Несчастье и неудача незримо витают над нашим отелем. За то время, как я живу в отеле, две пожилые женщины выбросились из окна, одна из них — француженка, как мне говорили, с еще сохранявшим следы красоты лицом, все безутешно расхаживала по коридору — она выбросилась со своего 14-го этажа во двор, в колодезь. Кроме этих двух жертв, совсем недавно Бог прибрал хозяйку, вернее, мать хозяина, огромного слоноподобного еврея в тубетейке, с ним я познакомился как-то на парти у моей американской подруги Розанны. Мать хозяина, как все старые женщины, любила распоряжаться в отеле, хотя хозяйку нашего грязенького заведения принадлежит еще 45 домов в Нью-Йорке. Почему ей доставляло удовольствие торчать тут целый день и указывать рабочим отеля, что им делать, не знаю. Может быть, она была садисткой. Недавно она исчезла. Ее нашли только под вечер, в шахте лифта, измятый и изуродованный труп. Дьявол живет рядом с нами. Насмотревшись фильмов про экзорцистов, я начинаю думать, что это дьявол. Из моего окна виден отель "Сан-Реджис Шератон". Я с завистью думаю об этом отеле. И обосновательно мечтаю переселиться туда, если разбогатею.

К нам, людям из России, в отеле относятся так, как некогда относились к черным до отмены рабства. Белье нам меняют куда реже, чем американцам, ковер на нашем этаже не

чистили ни разу за все время, пока я здесь живу, он ужасающе грязный и пыльный, иногда старый графоман американец из номера напротив, тот, что все стучит на машинке, выходит в трусах, берет метлу и в качестве зарядки бодро выметает ковер. Я все хочу ему сказать, чтобы он не делал этого, так как он только поднимает в воздух пыль, а ковер все равно остается грязным, но мне жаль лишать его физического упрямения. Иногда, когда я напиваюсь, он, американец этот, кажется мне агентом ЭфБиАй, приставленным, чтобы следить за мной.

Простыни и полотенца нам дают самые старые, свой туалет я мою сам. Короче, мы люди последнего сорта.

Персонал отеля считает нас, я думаю, никчемными лодырями, приехавшими обедать Америку—страну честных тружеников, остриженных под полу-бокс. Это мне знакомо. В СССР тоже все пиздели о тунеядцах, о том что нужно приносить пользу обществу. В России об этом пиздели те, кто меньше всех работал. Я писатель уже десять лет. Я не виноват, что обоим государствам мой труд не нужен. Я делаю мою работу—где мои деньги? Оба государства пиздят, что они устроены справедливо, но где мои деньги?

Менеджер отеля—темная дама, в очках, с польско-русской фамилией — миссис Рогофф, которая когда-то приняла меня в отель, по протекции Эдика Брутта, терпеть меня не может. На хуя была нужна протекция, когда в отеле полно пустых номеров, кто станет жить в таких клетках, неизвестно. Придаться миссис ко мне трудно, но ей очень хочется. Иногда она находит случай. Так, если первые месяцы я платил за свой номер два раза в месяц, то через некоторое время она вдруг потребовала, чтобы я платил за месяц вперед. Формально она была права, но мне было куда удобнее платить два раза в месяц, в те дни, когда я получаю свой Вэлфэр. Я ей сказал об этом. — А покупать белые костюмы и пить шампанское ты можешь, у тебя на это есть деньги? — сказала она, — Вы получаете Вэлфэр. Бедная Америка! — воскликнула она патетически. "Это я бедный, а не Америка", — ответил я ей тогда.

Причины ее неприязни ко мне позже выяснились окончательно. Когда она брала меня в отель, она думала, что я еврей. Потом, вдоволь наглядевшись на мой синий, с облупленной эмалью крестик, мое единственное достояние и украшение, она поняла, что я не еврей. Некто Марат Багров, бывший работник московского телевидения, тогда еще живший в "Винслоу", сказал мне, что миссис Рогофф жаловалась ему на Эдика Брутта, обманувшего ее и приведшего русского. Так, господа, я на собственной шкуре испытал, что такое дискриминация. Я шучу — евреи живут в нашем отеле не лучше, чем я. Я думаю, куда больше того, что я не еврей, миссис Рогофф не нравится то, что я не выгляжу несчастным. От меня требовалось одно—выглядеть несчастным, знать свое место, а не расхаживать то в одном, то в другом костюме на глазах изумленных зрителей. Я думаю, что она с большим удовольствием смотрела бы на меня, если бы я был грязным, сгорбленным и старым. Это успокаивает. А то вэлфэрист в кружевных рубашках и белых жилетах. Летом я, впрочем, носил белые брюки, деревянные босоножки на платформе и маленькую обтягивающую меня рубашку — минимум на себе имел. Миссис Рогофф и это раздражало. Встретившись как-то со мной в лифте, она сказала мне, с подозрением глядя на мои босоножки и загорелые босые ноги. "Ю лайк хиппи. Рашен хиппи", — добавила она без улыбки.

— Нет, — сказал я.

— Да, да, — убежденно сказала она.

Так я живу. Дни катятся за днями, напротив отеля на Мэдисон уже почти совсем разрушили целый блок домов и будут строить американский небоскреб. Кое-кто из евреев и полуевреев, и выдающих себя за евреев уже съехал из отеля, на их место поселились другие. Держатся они, как черные в своем Гарлеме, комунной, по вечерам вываливаются на улицу и сидят возле отеля в оконных нишах, кое-кто потягивает из пакетиков напитки, разговаривают о жизни. Если холодно, они собираются в холле, занимая все скамейки, и

тогда стоит в холле шум и говор. Администрация отеля борется с коммунальными привычками выходцев из СССР, с их пристрастием к цыганщине, но безуспешно. Заставить их не собираться и не сидеть перед отелем невозможно. И хотя, очевидно, такое деревенское сидение отпугивает от отеля возможных жертв, которые вдруг да и забредут сюда, теперь, кажется, администрация махнула на них рукой, что с ними сделаешь.

Я не очень-то имею с ними отношения. Я никогда не останавливаюсь, ограничиваясь словами "Добрый вечер!" или "Общий привет!" Это не значит, что я отношусь к ним плохо. Но на своем веку, в моей бродячей жизни я видел так много разнообразных русских и русско-еврейских людей, а это, на мой взгляд, одно и то же, что они мне неинтересны. Порой в еврейх "русское" проступает куда более явно, чем в настоящих русских.

Тут уместно будет рассказать о Семене. Он был седой еврейский парень, которого я и моя бывшая жена Елена встретили в Вене. Семен этот предложил Елене работу. Она должна была трудиться по ночам в принадлежащем Семену ночном баре "Тройка", расположенном рядом с собором Святого Стефана и борделем, подавать богатым полуночникам алкоголь и икру. Зарплата была обещана столь высокая, что я сразу же подумал: "Семену нужна была не барменша Елена, он метил выше — он явно хотел спастись с ней". Впрочем, я не обиделся, тогда я верил своей жене, а она еще любила меня, и я был совершенно спокоен.

Я, конечно, не позволил Елене работать ночью, я вообще не хотел, чтобы она работала, но, познакомившись с Семеном, мы нашли, что он приятный парень, и несколько раз встречались с ним и в его "Тройке", а потом в ресторане, который он купил на паях с еще двумя дельцами.

Семен был из Москвы, потом жил в Израиле, он умел делать деньги, сумел из СССР вывезти деньги, он процветал. И только в последний наш вечер в Вене, который мы провели в его ресторане, он открылся нам по-настоящему, когда напился и полупьяный заговорил.

— У меня здесь было много женщин, но ни одна не была мне интересна, они холоднокровные, они ужасны, я их боюсь, все в них меня отталкивает. Я боюсь их, ей-Богу.

Потом Семен заговорил о русских женщинах, о Москве. Мне тогда было странно слушать его. Впоследствии я наслушался ностальгических монологов и в Италии, и в Америке, но произносящие их были неудачливые эмигранты, не имеющие работы, не знающие, куда сплутить и с чего начать. Семен знал, его дорогой ресторан, в котором мы сидели, был свидетельством этого. Он подарил тогда Елене розы, их смешно и трогательно разносила женщина в платке, это была маленькая уютная и сентиментальная Европа, а не огромная металлическая Америка, там ходили женщины и разносили розы. Мы пили водку, Семен заказал оркестру "Полюшко-поле" и я увидел, что он плачет, и слезы его каплют в бокал с водкой. "Мы смеялись над понятием Родина, — сказал Семен, — и вот я сижу, и играют эту песню, и у меня болит душа, какой я к черту еврей, — я русский".

Потом он в своем синем мощном автомобиле вез нас над Веной, где были какие-то увеселительные заведения, мы выходили и смотрели сверху на город. Он очень быстро ездил и много пил. Уже в Америке я узнал, что он разбился на машине. Насмерть.

Это, конечно, частная судьба, господи, я рассказал о ней только потому, что я не делю выходцев из СССР на русских и евреев. Все мы русские. Привычки, всеразвешивающие привычки моего народа ввелись в них и, может быть, разрушили. Во всяком случае, по себе грустно знаю, что русские привычки не приносят счастья.

Так я не останавливаюсь с ними у отеля, а иду в свой номер. О чем с ними говорить — об их несчастьях, о том, как они устают, работая на такси или еще где. Недавно, выдав им "Общий привет!", я проходил мимо них в Нью-Йорк. Какой-то новый парень, по виду грузинский еврей, или скорее всего натуральный грузин, замаскировавшийся под

еврея, чтобы уехать, крикнул мне вдогонку "А ты что, тоже русский?"

— Я уже забыл, кто я на самом деле — не останавливаясь, сказал я.

Возвращаясь часа через два обратно, я опять проходил мимо них уже из Нью-Йорка. Тот же усатый и чернявый, сказал обиженно, увидев меня — "А ты что, разбогател, что не хочешь остановиться, поговорить". Это меня рассмешило, я засмеялся, но все же не остановился, чтобы не давать повода для знакомства. У меня и без того слишком много русских знакомых. Когда сам находишься в кувом состоянии, то не очень хочется иметь несчастных друзей и знакомых. А почти все русские несут на себе печать несчастья.

По какой-то подавленной тоске во всей фигуре их можно узнать со спины. Почти не общаясь с ними, я всегда узнаю их в лифте. Подавленность — основная их примета. Между первым и 16-ым этажом они успевают заговорить с вами, узнать, не будут ли давать к двухсотлетию Америки всем новым эмигрантам поголовно американское гражданство, может быть, попросят сочинить петицию президенту по этому поводу. На хуй им гражданство, они сами не знают.

Или разговор может принять противоположное направление:

— Слыхал, в октябре впускать будут?

— Куда впускать? — спрашиваю я.

— Ну как куда, в Россию. Пилот-то удрал из СССР на истребителе, теперь нас обратно запустят, чтобы уравновесить, понимаешь. Один удрал, а две тысячи пустят обратно. Две тысячи хотят обратно. А половина заявлений начинается с того, что люди просят прямо с самолета отправить их в лагерь, что они хотят отсидеть за свое преступление, за то что они уехали с Родины. А ты не собираешься назад? Тебя еще как возьмут, я слышал тебя опять и в "Правде", и в "Известиях" пропечатали?

— Да уж давно это было, еще в июне, говорю я. Из лондонской "Таймс" кусок перевели, да и тот извратили. Нет, я не собираюсь, мне там делать не хуй. Да и стыдно возвращаться. Засмеют. Я не поеду, я никогда не иду назад.

— Ты еще молодой, — говорит он. — Попробуй, может, пробьешься.

— А я поеду, — продолжает он тихо. — Я, понимаешь, там впал в амбицию, слишком много о себе возомнил, а вот приехал и увидел, что ни на что неспособен. Покою хочу. Куда-нибудь в Тульскую область, домишко, рыбки половить, ружьишко, учителем в сельскую школу пристроиться. Здесь ад, — говорит он. — Нью-Йорк — город для сумасшедших. Я поеду, довольно я здесь помывкался. Свободы у них тут ни хуя нет, попробуй что на работе смелое скажи. Без шума вылетит, тихо.

Он работал, в основном мыл посуду в разных местах. Получает анэмплоймент, 47 долларов в неделю. Живет на Весте в восьмидесятих улицах, в отеле он был у приятеля.

— В шахматы играешь? — спрашивает он меня, прощаясь.

— Терпеть не могу, — отвечаю я.

— А водку пьешь?

— Водку пью, говорю я, хоть и не часто сейчас.

— Не пьется здесь, — жалуется он. — Бывало, примешь 700 грамм с закуской, летишь по Ленинграду, как на крыльях, и весело тебе и хорошо. Здесь выпьешь — только приглушит, хуже еще. — Заходи, — говорит он, — борщом угощу.

В отличие от меня он варит борщи, употребляя для этого какую-то особую свеклу. Они все жалуется, что здесь не пьется. Пьется, но не так, алкоголь подавляет. Я, пожалуй, скоро пить брошу.

Когда-то я работал в Нью-Йорке в газете "Русское Дело" — и тогда меня интересовали проблемы эмиграции. После статьи под названием "Разочарование" убрали меня из газеты, от греха подальше. Тогда мне было уже не до проблемы эмиграции. Трещала семья, в муках умирала любовь, которую я считал Великой, я сам был едва жив. Венчало все эти события кровавое 22 февраля, вены, взрезанные в подъезде фешенебельного мадэл-эйдженси "Золи", где тогда жила Елена, потом недельная жизнь

бродяги в даун-тауне Манхэттана. Однако, очутившись в отеле, вернее, очнувшись, я вдруг увидел, что моя дурная слава не умерла, ко мне звонили и приходили люди, еще по советской привычке твердо веруя, что журналист сможет им помочь. — Полноте, милые, какой я журналист без газеты, без друзей и связей.

Давид Левин внешне похож на шпиона или провокатора из советских лубочных фильмов. Не знаю подробно его жизни, но я подозреваю, что, возможно, он сидел в СССР в тюрьме за уголовщину. А может, нет.

Он говорит о себе, что он журналист. Но из статей Левина, напечатанных все в том же "Русском Деле", лезет на свет Божий всякое дерьмо типа утверждений, что в СССР в хороших новых домах живут только кагэбэшники и прочие басни. Сейчас он говорит о себе, что он журналист из Москвы, а когда я видел его мельком один раз в Риме, он говорил, что он журналист из Архангельска. Все, что он рассказывает о себе — двойственно. С одной стороны, он говорит, что в СССР очень хорошо жил, а в командировки "на цековских самолетах летал", а с другой — что он страдал в СССР от антисемитизма. Живет он сейчас исключительно на деньги, которые получает от еврейских организаций или непосредственно от синагог. Тоже своего рода Вэлфэр. Когда-то ему сделали операцию брюшной полости, мне кажется, он использовал свое несчастье как средство качать деньги из американских евреев.

Все, что он видел у меня и все, что я ему говорил, заранее рассчитывая, что он унесет все это и размножит, и вздует, и искривит — он ухитрился увеличить гиперболически и глупо. Портрет Наума Цэ-дуна на стене превратился в мое вступление в китайскую партию. Что за китайская партия, я не знал, но нужно было сократить количество русских, и Левин попал под сокращение, бедная злобная жертва. Я здороваюсь с ним и иногда полминуты что-то вру ему. Он не верит, но слушает, а потом я ухожу. "Дела, — говорю я, — дела ждут".

Сорванные с мест, без привычного окружения, без нормальной работы, опущенные на дно жизни люди выглядят жалко. Как-то я ездил на Лонг Бич купаться с яростным евреем Маратом Багровым, этот человек умудрился выйти 2-го мая на контрдемонстрацию против демонстрации за свободный выезд евреев из СССР, идущей по 5-ой авеню. Вышел он тогда с лозунгами "Прекратите демагогию!", "Помогите нам здесь!" Так вот, мы ехали на Лонг Бич, Марат Багров вел машину, которую у него на следующий день украли, а бывший чемпион Советского Союза по велосипедному спорту Наум и я были пассажирами. Компания ехала в гости к двум посудомойкам, работающим там же, на Лонг бич в доме для синьор ситизенс. Я, едва заглянув в полуподвальные комнаты, где жили посудомойки, один бывший музыкант, другой — бывший комбинатор и делец, специалист по копчению рыбы, я к ним едва заглянул и влез через ограду на пляж, чтоб не платить два доллара.

Чайки, океан, туман соленый, похмелье. Я долго лежал один, не понимая, в каком я мире. Позднее пришли Багров и Наум. "Ебаная эмиграция!" — все время говорил 34-летний бывший чемпион.

— Когда я только приехал в Нью-Йорк, я пошел купить газету, купил "Русское Дело", и там была твоя статья. Она меня как молотком ударила. Что я наделал, думаю, на хуя я сюда приехал.

Он говорит и роет в песке яму. "Ебаная эмиграция!" его постоянный рефрен. Он работал уже в нескольких местах, на последней работе он ремонтировал велосипеды и устроил вместе с двумя другими рабочими — пуэрториканцем и черным — забастовку, требуя одинаковой оплаты труда. Одному из них платили 2.50 в час, второму — 3 и третьему — 3.50.

— Босс вызвал черного и, когда тот пришел, сказал, ты почему не работаешь, сейчас ведь рабочее время, — говорит Наум, продолжая механически копать яму. — Черный

сказал боссу, что у него визит к доктору, потому он сегодня раньше ушел. Потом он спросил пуэрториканца — почему он ушел с работы раньше. Тот также испугался и сказал, что ему сегодня нужно в социал-секюрити. А я спросил босса, почему он не платит всем нам поровну, ведь мы работаем одинаково... — Наум горячится... — Черного он уволил, сказал — можешь идти. А я ушел сам, теперь работаю сварщиком — свариваю кровати, это очень дорогие модельные кровати. Я свариваю один раз, потом стачиваю шов, если на нем нет дырочек, раковин — хорошо, если есть, завариваю опять и опять стачиваю. Прихожу, вся голова в песке...

Живет Наум на Бродвее, на Весте, там отель тоже вроде нашего, туда поселяют евреев. Я не знаю, какие там комнаты, но место там похуже, куда более блатное.

— Ебешься со своей черной? — спрашивает его Багров деловито.

— С той уже не ебусь, — отвечает Наум. — Совсем обнаглела. Раньше пятерку брала, теперь 7,50. Это еще ничего бы, но однажды стучит ночью в два часа, я пустил — давай, говорит, ебаться. Я говорю давай, но бесплатно. Бесплатно, говорит, не пойдет. Я говорю — у меня только десятка и больше денег нет. Давай, говорит, десятку, я тебе завтра сдачу принесу и бесплатно дам. Поебались, и пропала на хуй на неделю. А у меня денег больше не было. Пришла через неделю и деньги вперед требует, а о сдаче молчок. Иди, говорю, на хуй отсюда. А она вопит: "Дай два доллара, я сюда к тебе поднималась, мне портье дверь открывал и на лифте поднял, я ему два доллара пообещала, за то что пустит".

— И ты дал? — с интересом спрашивает Багров.

— Дал, — говорит Наум, — ну ее на хуй связываться, у нее сутенер есть.

— Да, лучше не связываться, — говорит Багров.

— Ебаная эмиграция! — говорит Наум.

— Воровать надо, грабить, убивать, — говорю я. — Организовать русскую мафию.

— А вот напиши я им письмо, — не слушая меня, говорит Багров, — в Советский Союз, ребятам, так ни хуя не поймут. У меня приятель есть, спортивный парень, все мечтал на Олимпийские игры поехать. Вот напишу я ему, что я на своей машине ездил на Олимпийские игры в Монреаль — он же так завидывать будет. И еще не работая, в Монреаль ездил, на анэмплоймент.

— Хуй ты ему объяснишь, что при машине и Монреале здесь можно в страшном говне находиться, это невозможно объяснить, — говорит Наум. — Ебаная эмиграция!

— Да, не объяснишь. И он если б приехал, ему бы не до Монреаля было, тоже в говне сидел бы. Машина что, я за нее полторы сотни заплатил. Хуйня.

Закончив купание, причем они, взрослые мужики, как дети кувыркались в волнах, чего я, Эдичка, долго не выдержал, мы идем последние с пляжа, когда солнце уже садится, судача о том, что в Америке мало людей купается и плавает, большинство просто сидит на берегу или плещется, зайдя в воду по колено, в то время как в СССР все стремятся плыть подальше и ретивых купальщиков вылавливают спасательные лодки, заставляя плыть к берегу.

— В этом коренное отличие русского характера от американского. Максимализм, — смеясь, говорю я.

Мы идем к посудомойкам, и в комнате одного из них устраиваем пир. Пир посудомоек, сварщика, безработного и вэлфэровца. Еще несколько лет назад, соберись мы вместе в СССР, мы были бы: поэт, музыкант, спортсмен, чемпион Союза, миллионер (один из посудомоек — Семен — имел около миллиона в России) и известный на всю страну тележурналист.

— Мэнэджэр сегодня весь день за нами наблюдал, он знал, что у нас гости, потому мы сегодня уперли меньше, чем всегда, пожрать — оправдываются посудомойки. Мы жрем прессованную курицу, оживленно беседуем, наливаем из полугаллоновой бутылки виски, мы торопимся, уже стемнело, а нам еще ехать в Манхэттан.

Как красочный показ того, что нас ожидает в будущем, появляется коллега посудомоек — старик украинец. Он получает за ту же работу 66 долларов чистыми в неделю. "Он безответный, вот его босс и обдирает как хочет, к тому же он уже старый, так быстро, как мы, не может работать", — говорят посудомойки прямо при старике, нисколько его не стесняясь. Он смущенно улыбается.

Мы покидаем гостеприимных посудомоек и при все время понижающейся температуре воздуха отправляемся по прелестным американским дорогам в Нью-Йорк. Включаем музыку. Едем, злимся, ругаемся, хорохоримся, но скоро расстанемся и каждый очутится с самим собой.

Отель "Винслоу". Я поселился здесь как будто на месяц, чтобы успокоиться и оглядеться, впоследствии я собирался снять квартиру в Вилледже или лофт в Сохо. Теперь моя собственная наивность умиляет меня. 130 — вот все, что я могу платить. На такие деньги можно поселиться разве что на авеню Си или Ди. В этом смысле отель "Винслоу" — находка. Все-таки центр, экономия на транспорте, везде хожу пешком. А обитатели, ну что ж, с ними можно не общаться.

Когда я пытался заставить себя спать с американской женщиной Розанной, эта была часть разработанной мною программы вползания в новую жизнь, я возвращался домой очень поздно, в два, в полтретьего ночи. Иной раз у отеля стояли такси. В них восседали на водительских местах отельные постояльцы.

— Как дела? — спрашивал я.

— Да уже есть 32 доллара, — говорил мне человек обритый наголо, которого я знаю, но не помню, как его зовут. — Сейчас люди из кабаков будут возвращаться — стану развозить.

Подъезжает еще одно такси. Водители жалуются друг другу на отсутствие клиентов.

Одно время идти работать в такси было у них модно. Теперь мода немножко проходит. Во-первых, одного русского таксиста убили, это не очень-то приятно знать, когда сам работаешь в такси, кроме того, двоих парней из нашего отеля уволили за опоздание в парк.

Есть в нашем отеле и интеллигентные люди — например, высокий белокурый человек 33-х лет — поэт Женя Кникич. Как видите, фамилия у него типично ленинградская — изощренная. По специальности он филолог, защитил диссертацию о Достоевском на тему "Село Степанчиково и его обитатели с точки зрения странности". Он варит в своей каморке, которая выходит в темный колодец двора, почки или сосиски, на кровати у него сидит некрасивая американская девочка, которая обучает его английскому, на стенах развешаны бумаги с написанными по-английски выражениями, вроде "Я хочу работать". Это не соответствует действительности, Женя не очень хочет работать, он старается сейчас получить Вэлфэр, "Я серьезный ученый", — говорит он мне. Я думаю, он серьезный ученый, почему нет, только и он, и я понимаем, что его профессия серьезного ученого, специалиста по Гоголю и Достоевскому, преподавателя эстетики, никому тут на хуй не нужна. Тут нужны серьезные посудомойки, те, кто без всяких литературных размышлений будут выполнять черную работу. В литературе тут своя мафия, в любом виде бизнеса — своя мафия.

В русской эмиграции — свои мафиози. Белокурый Женя Кникич не был готов к этому, как и я. Мафиози никогда не подпустят других к кормушке. Хуя. Дело идет о хлебе, о мясе и жизни, о девочках. Нам это знакомо, попробуй пробейся в Союз писателей в СССР. Всего изомнут. Потому что речь идет о хлебе, мясе и пизде. Не на жизнь, а на смерть борьба. За пизды Елен. Это вам не шутка.

Иногда мной овладевает холодная злоба. Я гляжу из своей комнатки на вздымающиеся вверх стены соседствующих зданий, на этот великий и страшный город и понимаю, что все очень серьезно. Или он меня — этот город, или я его. Или я превращусь в того жалкого старика украинца, который приходил к моим приятелям

посудомойкам на наш пир, к униженным и жалким, он — еще более униженный и жалкий, или... " Или " подразумевает победить. Как ?

Страшная серьезность, какая-то пронзительность моего положения при первом пробуждении утром охватывает меня, я вскакиваю, пью кофе, смываю с себя сонные обрывки каких-то жалких русских песен и стихов, еще какой-то русской бредятины и сажусь к своим бумагам — то ли это английский язык, то ли то, что я пытаюсь написать. И я все время гляжу в окно. Эти здания подогревают меня. Ебаные в рот ! Здесь я стал много ругаться. " Вряд ли мне удастся проявиться в этой системе ", — думаю я с тоской, предвкушая длинный и трудный путь, но нужно попробовать.

... Самая дешевая пища, не всегда вдоволь, грязные комнатки, бедная, плохая одежда, холод, водка, нервы, вторая жена сошла с ума. Десять лет такой жизни в России и теперь все с начала — где ж, еб твою мать, твоя справедливость, мир ? — хочется мне спросить. Ведь я десять лет работал там изо дня в день, написал столько сборников стихотворений, столько поэм и рассказов, мне удалось многое, я образ определенный русского человека в своих книгах сумел создать. И русские люди меня читали, ведь купили мои восемь тысяч сборников, которые я на машинке за все эти годы отпечатал и распространил, ведь наизусть повторяли, читали.

Но я увидел однажды, что там дальше не подымусь, ну Москва меня читает, да Ленинград читает, да еще в десяток крупных городов сборники мои попали, люди-то меня приняли, да государство-то не берет, сколько можно кустарными способами распространяться, до народа-то не доходит то, что делаю, горечь-то в душе остается, что какого-нибудь Рождественского миллионными тиражами тисканут, а у меня ни стихотворения не напечатали. — Заебись вы, думаю, со своей системой, я у вас на службе с 1964 года, когда из книгонош ушел, не состою. Уеду я от вас на хуй со своей любимой женой, уеду в тот мир, там, говорят, писателям посвободней дышится.

И приехал сюда. Теперь вижу — один хуй, что здесь, что там. Те же шайки в каждой области. Но здесь я еще дополнительно проигрываю, потому что писатель-то я русский, словами русскими пишу, и человек я оказался избалованный славой подпольной, вниманием подпольной Москвы, России творческой, где поэт — это не поэт в Нью-Йорке, а поэт издавна в России все — что-то вроде вождя духовного и с поэтом, например, познаться там — честь великая. Тут поэт — говно, потому и Иосиф Бродский здесь у вас тоскует в вашей стране и однажды, придя ко мне на Лексингтон, еще говорил, водку выпивая : " Здесь нужно слоновью кожу иметь в этой стране, я ее имею, а ты не имеешь ". И тоска была при этом в Иосифе Бродском, потому что послушен он стал порядкам этого мира, а не был послушен порядкам того. Понимал я его тоску. Ведь он в Ленинграде, кроме неприятностей, десятки тысяч поклонников имел, ведь его в каждом доме всякий вечер с восторгом бы встретили, и прекрасные русские девушки, Наташи и Тани, были все его, потому что он — рыжий еврейский юноша — был русский поэт. Для поэта лучшее место — это Россия. Там нашего брата и власти бояться. Издавна.

А другие ребята, мои друзья — те, кто в Израиль поехали, какими националистами уезжая были, думали там в Израиле приложение найти уму, таланту, идеям своим, считая, что это их государство. Как же, хуя ! Это не их государство. Израилю не нужны их идеи, талантливость и способность мыслить, нет, не нужны. Израилю нужны солдаты, опять как в СССР — ать, два, повинуйся. Ведь ты еврей, нужно защищать Родину. А нам надоело защищать ваши старые вылинявшие знамена, ваши ценности, которые давно перестали быть ценностями, надоело защищать " Ваше ". Мы устали от Вашего, старики, мы же сами скоро будем стариками, мы сомневаемся, следует ли, нужно ли. Ну вас всех на хуй...

" Мы ". Хотя я мыслю себя отдельно, я все время возвращаюсь к этому понятию " Мы ". Нас здесь уже очень много. Так вот, нужно признать это, среди нас довольно много сумасшедших. И это нормально.

Постоянно трется среди эмигрантов некто Ленья Чаплин. По-настоящему он не Чаплин, у него запутанная еврейская фамилия, но еще в Москве он был заочно влюблен в младшую дочку Чаплина и в честь ее взял себе псевдоним. Когда упомянутая дочка вышла замуж, у Лени был траур, он пытался отравиться. Я его знал в Москве и единожды был у него на дне рождения, где кроме меня был только один человек — полунормальный философ Бондаренко, идеолог русского фашизма, подсобный рабочий в винно-водочном магазине. Меня поразила узкая, как трамвай, Ленина комната, все стены ее были оклеены в несколько слоев слоев большими и малыми великими людьми нашего мира. Там были Освальд и Кеннеди, Мао и Никсон, Че-Гевара и Гитлер... Более безумной комнаты я не видел. Только потолок был свободен от великих людей. Одни великие головы наклеивались на другие, слой бумаги был толщиной в палец.

Теперь Ленья, после пребывания в различных штатах Америки, и как говорят злые языки в нескольких штатных психбольницах, живет в Нью-Йорке и получает Вэлфэр. Использует он свое пособие своеобразно. Всю сумму, около 250 долларов он откладывает. Он собирается в будущем путешествовать, а может, поступить в американскую армию. Ночует он у друзей, а питается... из мусорных корзин на улице он вынимает то кусок пищи, то еще какую-то пакость. При этом он неизменно произносит одну и ту же фразу: "Курочка по зернышку клюет".

С этим сумасшедшим Ленией, который интеллигентный все-таки юноша и Ницше в свое время почитывал, и какие-то буддийские притчи о трех слонах писал, мы в некотором роде родственники. Племянница моей второй жены Анны Рубинштейн была его первой женщиной. Блудливая Стелла, у которой, по выражению одного моего давнего знакомого "по пачке хуев в каждом глазу", выбила длинного шизоидного Леню. Мой родственничек пожил уже и в Израиле, до Америки. Даже форма его головы и сутулость высокой фигуры свидетельствуют, что он сумасшедший от рождения. Я не вижу в этом особого греха или несчастья, я только весело констатирую факт.

Совсем другая форма безумия поселилась в Сашеньке Зеленском. Этот тихоня с усами известен среди нас тем, что у него гигантская для эмигранта сумма долгов. Он нигде не работает, никаких пособий не получает и живет исключительно в долг. На стене его студии, которую он снимает где-нибудь, а на 58-й улице, 300 долларов в месяц, красуется гордая надпись: "Мир — я должен тебе деньги!"

Зеленский окончил в Москве институт международных отношений. Папа его был какой-то шишкой в журнале "Крокодил". Приехав в Америку, Саша вначале работал экономистом по морским перевозкам, это его профессия, и так как он знает английский язык, то его взяли по специальности. Он там довольно прилично зарабатывал, но его безумие, естественно, в нем шевелилось и требовало жертв, воплощения. Саша решил, что он великий фотограф, хотя в СССР он никогда не снимал. Думаю, фотографии тощий и похожий на помесь двух русских писателей — Белинского с Гоголем, Саша выбрал потому, что с этой "модной" профессией, по его мнению, легче всего заработать деньги. Если бы он решил, что он фотограф, и при этом снимал, трудился, пытался, искал, все было бы ничего, и это называлось бы просто "фанатизм". Но дело серьезнее, он ничего не снимает, ничего не умеет и развивает бешеную деятельность по заему все новых и новых сумм. Новые займы напозабот на старые... Это единственное, что он умеет делать. Как ему удастся? Не знаю. Может, он надевает тубетейку и идет в синагогу. Так делают многие...

Сколько у него долгов? Не знаю. Может быть, 20 тысяч. Он звонит людям, которых он один раз в жизни видел, и просит денег, и очень обижается, когда ему отказывают. За свою студию он не платил уже громадное количество времени, как его до сих пор не выгнали, я не знаю. Он перебивается с хлеба на воду, худ как скелет, но работать почему-то не идет. Одно время он работал официантом в Биф-Бюргере на 43-й улице, но по прошествии короткого времени его выгнали.

У него тоненький голосок, стоптанные башмаки и дырявые джинсы. Раньше он еще имел хуевую привычку вместе с Жигулиным, тоже мальчишкой — фотографом, живущим этажом ниже, ругать вслух для собственного успокоения прославленных фотографов. "Хиро? — Говно. Аведон — старый халтурщик..." Мелькали имена. Зеленский и Жигулин знали, как надо делать шедевры, но почему-то их не делали. Сейчас они чуть поутихли.

В настоящее время Сашенька Зеленский ждет свою мамочку из Москвы, которую он крепко любит. Бывшее у него некоторое время назад дикое состояние, когда Жигулин говорил мне о нем: "Помяни мое слово — он обязательно повесится", — он тогда никого не пускал к себе и сидел, запершись в вечном полумраке своей ободранной студии — единственное, что в нем было от фотографа — студия, такое состояние прошло. Скоро приедет мамочка, и усатый Сашенька с дурным глазом, в его глазе есть что-то конское, этакий с поворота вывернутый на вас подозрительный глаз, в нем всегда подозрение, в Зеленском, может быть, заставит мамочку работать, а сам будет конструировать очередной проект кольца, дизайнер кольца, каковой проект будет носить и предлагать в ювелирные магазины. Время от времени ко мне, к человеку, который много в своей жизни шил, чтобы иметь кусок хлеба, Зеленский обращается с просьбой сшить по его проекту, который он тщательно скрывает, какую-то дизайнерскую рубашку. Я говорю ему, чтобы он купил материал и принес свой проект, я ему тотчас и сошью. Это тянется уже второй год, и никогда он не купит материал и не принесет проект, потому что имя всем его неоконченным затеям одно — безумие. Не такое, когда, хватаясь за решетку, брызгают слюной. Нет, тихое, извиняющееся, с тонким голосом, когда пытаются печатать цветные фотографии, когда изобретают проекты колец, или изобретают солнечные батареи, или вдруг решают серьезно заняться классической музыкой. Нет покоя человеку в этом мире. Его со всех сторон дергают и заставляют делать деньги. Зачем деньги? Чтобы превратиться из задрипанного Зеленского в стоптанных башмаках в прекрасного Зеленского в роллс-ройсе, и рядом красивая улыбающаяся белая леди. Все нищие мечтают о белых леди. У меня белая леди уже была.

Я — БАСБОЙ

Первые дни марта застали меня работающим в ресторане "Олд Бургунди", находился он и находится по сей час в здании отеля "Хилтон". До отеля "Хилтон из "Винслоу" идти всего-ничего, два квартала на Вест и одну улицу вниз.

Очутился я в "Хилтоне" по протекции крымского татарина Гайдара, который работал в Хилтоне носильщиком десять лет, был там свой человек, иначе меня еще и не взяли бы. Каюсь, совершил преступление, в "Хилтон" пошел через несколько дней после того, как получил "Вэлфэр". Хотел попробовать и выбрать впоследствии. Когда-то в глубокой юности я учился в специальной школе для официантов, но учился кратковременно, сколько-нибудь приличного официантского образования у меня не было, пошел я в свое время в официанты случайно.

Никогда я не думал, что нужна и случай заставят меня вновь обратиться к этой профессии. Впрочем, в "Олд Бургунди", большом красном зале с двумя балконами и без окон, совершенно без окон, как я позже обнаружил, я работал басбоем. Молодая армянка из персонал-оффиса "Хилтона", оформлявшая меня на работу, сказала, что если бы я хоть посредственно знал язык, меня бы взяли официантом, а не басбоем. На своем незнании языка я терял деньги.

В "Хилтоне" нашем было две тысячи обслуживающего персонала. Огромный отель работал, как гигантский конвейер, не останавливаясь ни на минуту. В таком же темпе работал и наш ресторан. В семь часов утра появлялись уже первые посетители — в основ-

ном это были подтянутые седые мужчины среднего возраста, приехавшие из провинции на какой-нибудь профессиональный конгресс. Они спешили съесть свой брекфест и обратиться к делам. Помню, что время от времени нам всем нацепляли на лацкан форменных красных курток бумажный жетон с надписью вроде следующей: "Добро пожаловать! Дорогие участники конгресса пульпы и пейпера, персонал отеля "Хилтон" приветствует вас и приглашает на традиционный кусочек красного яблока. Мое имя — Эдвард".

Если это не был конгресс пульпы и пейпера, то это был еще какой-нибудь столь же славный конгресс. Джентельменам из провинции оплачивали пребывание в отеле и наш ресторан их фирмы, все они имели стереотипные кусочки картона, в которых официант предоставлял им сумму съеденного и выпитого.

Долго за столиками джентельмены не задерживались. Их ждали дела, и проглотив довольно дорогие и, на мой взгляд, не очень вкусные изделия нашей кухни, они сматывались во свояси. Свистопляска эта, как я уже сказал, начиналась в семь и кончалась она для меня в три часа.

Был я тогда тихий и пришибленный. Я не переставая думал о том, что со мной случилось. Недавние события — измена Елены, ее уход от меня — все это свершилось в полгода и быстренько съехало к трагедии. Так что я не очень хорошо себя чувствовал, когда вставал в полшестого, одевал свитер на голое тело, серый костюм, и шарф на шею, — шел в отель ровно шесть минут, спускался по ступенькам вниз — видел каждодневную вылинявшую надпись "Имейте прекрасный день в "Хилтоне", при этом в лицо мне ударяло запахом мусора, подымался в лифте в мой ресторан, приветствовал поваров — кубинцев и греков. Я от души приветствовал этих людей, они мне были симпатичны — вся кухня и все наши басбои, официанты, мойщики посуды, уборщики — были пришлые, не американцы, метеки. Их жизнь была не очень-то устроена, лица не были каменно спокойны, как у наших посетителей, вершащих во всех частях Америки великие дела пульпы и пейпера. Многие из них — например, те, кто принимал от меня короба с грязной посудой, которые я таскал из ресторана, получали еще меньше денег, чем я. Находясь все еще в атмосфере моей трагедии, я считал этих людей с кухни моими товарищами по несчастью. Да так оно и было, конечно.

Ну да, так вот я проходил утром через кухню, брал столик на колесиках, покрывал его сверху белой скатертью, а две его нижние полки красными салфетками. На салфетки я ставил специальные длинные глубокие вазочки — посуду для масла, иногда немного вилок и ножей, на случай, если у моих двух официантов, которых я обслуживал, не хватит посуды, или стопку чашек и блюдец. Наверх, на белую скатерть я помещал обычно четыре под серебро сделанных кувшина, предварительно наполнив их кусочками льда и водой, и большую миску масла, стандартные кусочки — я вынимал их из холодильника и посыпал свежим тонким льдом. На вторую такую же тележку я устанавливал несколько пустых лоханей, тоже сделанных под серебро, в которых мне предстояло весь рабочий день таскать грязную посуду на кухню. Потом я шел к доске, на которой были обозначены позиции басбоев на каждый день недели. Мы менялись местами, чтобы никто не имел постоянного преимущества, так как на одни места в ресторане посетители садились почему-то охотнее, и часто даже менеджер или метрдотели, рассаживающие посетителей, не могли им в этом помешать. Посмотрев, какие столики я сегодня обслуживаю, я катил свои тележки в ресторанный зал и устанавливал их в надлежащем месте, обычно так, чтобы они не бросались в глаза посетителям. А дальше начиналась, как я уже говорил, свистопляска...

Появлялись посетители. Еще прежде официанта к ним подбегал я, здоровался, наполнял их бокалы водой со льдом и ставил им на столик масло. В ланч я еще обязан был всякий раз рвануть к духовому шкафу — он помещался между кухней и рестораном, в прихожей, — вынуть оттуда горячий хлеб, нарезать его и принести посетителям, покрыв

салфеткой, чтобы не остыл. Представьте, если у вас пятнадцать столиков, а вы обязаны еще унести грязную посуду, причем тотчас, менять скатерти, следить, есть ли у посетителей кофе, масло и вода, а сменив скатерть, накрыть столик — поставить приборы и положить салфетки. У меня не высыхал пот на лбу, я не даром получал мои чаевые. Куда как не даром.

Впрочем, беготне этой я был рад первое время. Вначале она меня отвлекала от мыслей об Елене. Особенно первое время, когда я ничего не понимал, учился, ресторан наш казался мне интересным. Только иногда, носясь с грязной посудой, как угорелый, чуть не оскользаясь на поворотах, я вспоминал с тоской, что жена моя ушла в куда более прекрасный мир, чем мой, что она курит, пьет и ебется, и хорошо одетая, благоухающая, отправляется всякий вечер на парти, что те, кто делает с ней любовь — это наши посетители, их мир увел Елену от меня. Все, конечно, было не так просто, но они — наши прилизанные, приглаженные американские посетители, джентльмены, да простит мне Америка, стибрили, уворовали, насильно отняли у меня самое дорогое мне — мою русскую девочку.

Являясь ко мне во время переноса грязной посуды, когда я шел по проходу между столиками, вытянув перед собой поднос с испачканными тарелками, эти видения изменяющей мне Елены заставляли меня покрываться холодным потом и испариной, я бросал на посетителей наших взгляды, исполненные ненависти. Я не был официант, я не плевал им в пищу, я был поэт, притворяющийся официантом, я бы взорвал их на хуй, но мелких гадостей я не мог им делать, не был способен.

"Я разнесу ваш мир! — думал я. Я убираю после вас пищевые отходы, а жена моя ебется и вы развлекаетесь с нею, только потому что такое неравенство, что у нее есть пизда, на которую есть покупатели — вы, а у меня пизды нет. Я разнесу ваш мир вместе с этими ребятами — младшими мира сего!" — пылко думал я, поймав взглядом кого-нибудь из моих товарищей басбоев — китайца Вонга, или темноликого преступного Патришио, или аргентинца Карлоса.

А что я должен был еще испытывать к этому миру, к этим людям? Я не был идиотом, никакие сравнения с СССР меня не успокаивали. Я не жил в мире цифр и жизненных уровней или покупательной способности. Моя боль заставляла меня ненавидеть наших посетителей и любить кухню и моих друзей по несчастью. Согласитесь — нормальная позиция. Единственно нормальная, необъективная, но единственно нормальная. К чести моей следует сказать, что я был последователен. В СССР я так же ненавидел хозяев жизни — партаппарат и многочисленных управляющих бонз. Я в своей ненависти к сильным мира сего не хотел образумиться, не хотел считаться с разнообразными объяснительными причинами, с ответами на мою ненависть, вроде таких:

— Ведь ты только приехал в Америку...

— Здесь стихи писать — не профессия, пойми...
и прочими ответами.

"Ебал я ваш мир, где мне нет места, — думал я с отчаяньем. — Если не могу разрушить его, то хотя бы красиво сдохну в попытке сделать это, вместе с другими, такими же как и я..." Как конкретно это будет, я не представлял. Но по опыту своей прошлой жизни знал, что ищущему судьба всегда предоставляет возможность, без возможности я не останусь.

Китайский паренек Вонг, приехавший из Гонконга, был мне особенно симпатичен. Он всегда мне улыбался и хотя я плохо понимал его, мы как-то объяснялись. Он был моим первым учителем в области моей несложной профессии — первую неделю он очень возился со мной, так как я ничего не знал — где масло взять не знал, куда нужно идти за бельем не знал. Он терпеливо помогал мне. В наш короткий перерыв мы спускались в подвал — в кафетерий для рабочих отеля — вместе обедали, я расспрашивал его о его жизни. Он был типичный китайский паренек — жил конечно в Чайна - тауне, увлекался

карате — ходил заниматься к мастеру два раза в неделю.

Как-то у нас было еще время после еды и мы поднялись в раздевалку — он со смехом показал мне порнографический журнал с китайянками, но он утверждал, что это японки, что китайские женщины порядочные и в таких журналах не снимаются. Я что-то грубо шутил по поводу журнала и китайских женщин, Вонг очень смеялся. Журнал понравился мне больше таких же журналов с западными женщинами, этот журнал не вызывал во мне боли, которую я испытывал от случайно увиденных журналов с похабно развалившимися блондинками. Блондинки были связаны с Еленой, и я волновался и дрожал от вывернутых пипок, выставленных напоказ внутренностей и эпидермисов половых губ. Китайский журнал меня успокоил. В нем не было для меня боли.

Официанты были одеты иначе, чем мы, басбои, куда более внушительно, я завидовал их форме. Короткий красный мундир с погончиками и черные штаны с высоким поясом делали их похожими на тореадоров. Высокий красавец-грек Николас, плечи — косяк сажень ; губастый, все что-то приговаривающий шутник Джонни — роста почти такого же как Николас, но тяжеловатый и крупный, итальянец Лючиано, узколобый, узкостый, ловкий, похожий на сутенера — со всеми с ними я работал — от них в конце брекфеста и ланча получал свои пятнадцать процентов чаевых. Всякий день я уносил домой от 10 до 20 долларов чаевыми.

Официанты все были разными, одни, как например, всегда опаздывающий веселый высокий черный парень Эл, он приходил позже всех официантов, и я часто помогал ему, накрывать на столы, давали мне больше всех чаевых, другие, как некто Томми — парень в узких и коротких брючках и очках — меньше всех.

Я не раб по натуре своей, прислуживать умею плохо. Это сказывалось, наш менеджер Фред и метрдотели Боб и Рикардо любили обедать на боковом балконе. Я очень злился, когда оказывался обслуживающим ближайшие к балкону боковые столики — они меня обязательно куда-то гоняли, хотя это не входило в мои обязанности. Подавая Бобу — полному молодому человеку стакан молока, я весь внутри сжимался — не любил и не мог быть слугой. Иногда вместе с нашим начальством обедала какая-нибудь женщина или девушка. Кто там на меня обращал внимание, слуга есть слуга, но мне казалось, что она смотрит на меня и презирает. Не мог же я сказать ей, что еще год назад дружил с послами нескольких стран, что веселился с ними на закрытых вечеринках, помню одну такую, где было 12 послов, не секретарей, а настоящих как есть послов, среди них были послы Швеции и Мексики, Ирана и Лаоса, а моим другом был сам хозяин — посол Венесуэлы, Бурелли — поэт и прекраснейший человек. В его посольство на улице Ермоловой мы с Еленой ходили, как домой. Не мог же я ей объяснить, что в моей стране я был одним из лучших поэтов. Все бы смеялись, скажи я это. Идя на работу в отель, я написал в анкете всякие глупости о своей прошлой жизни, что я, мол, всегда работал официантом в харьковских и московских ресторанах. Хуй-то, если бы так.

В общем, я вел двойную жизнь. Менеджер был мной доволен, официанты тоже, иногда метрдотель Боб меня чему-то учил, я собирал все свои актерские способности воедино и, старательно выкатив глаза, слушал, как он советовал мне перед работой наполнить водой и льдом бокалы, кроме кувшинов, чтоб потом подавать воду прямо в бокалах, не задерживаясь — тогда был большой наплыв посетителей. Я глядел Бобу в глаза и говорил "Ес сэр !" через каждые пару минут. Он-то не знал, что у меня на душе и в голове. "Ес сэр ! Спасибо сэр !" Боб был доволен. Но я-то вел двойную жизнь. И все более ненавидел посетителей. Не только из-за Елены, но в основном из-за нее. В выдавшиеся несколько минут передышки я складывал лестничкой салфетки — чтоб были под рукой готовые — и невольно, с болью вспоминал, не мог не вспоминать события последних месяцев....

Она объявила мне, что у нее есть любовник 19 декабря, при страшном морозе и вечерней тусклой лампочке в нашей лексингтоновской трагической квартире. Я,

потрясенный и униженный, сказал ей тогда: " Спи с кем хочешь, я люблю тебя дико, мне лишь бы жить вместе с тобой и заботиться о тебе ", — и поцеловал ее неприкрытые халатом колени. И мы стали жить.

Она и это мое решение объяснила моей слабостью, а не любовью. Вначале после 19 декабря она еще заставляла себя и пыталась не отказывать мне в любви, делать со мной любовь, по какому-то свойству моего организма мне тогда ее всякий день хотелось, у меня постоянно стоял хуй. В своем дневнике, если я отваживаюсь заглянуть туда, я обнаруживаю короткие грустные записи, что я делал с ней любовь четыре раза, или два, или один. Но она все более и более нагтела, и постепенно наши " соития ", иного слова не подберешь, именно соития — так они были торжественны для меня — стали очень редкими.

Наконец она совсем перестала делать со мной любовь и открыто вслух всякий день говорила, что хочет со мной расстаться, я бродил в сумерках своего подсознания, мастурбировал по ночам в ванной комнате, надев ее, только что пришедшей и уже спящей, еще теплые колготки и трусики, часто и то, и другое было в пятнах спермы, чужой, разумеется, и хотел я одного только, как счастья, выебать свою собственную жену. Так во мне постепенно родилась бредовая идея — изнасиловать Елену.

В солнечный-пресолнечный морозный день у интеллигентного сэйлсмана с бородкой в магазине на Бродвее я купил наручники. Они были... ну, все знают, какие наручники продаются на Бродвее за семь долларов. Пришел я домой уже в полной истерике от этой покупки. Попробовав и внимательно рассмотрев наручники, я с ужасом обнаружил, что они оказались с кнопкой для открывания без помощи ключа, то есть и стальные, и будто бы крепкие, но для игры, для детей. Даже было написано, что не менее трех лет дети могут играть такими наручниками. Жалкая история, очень жалкая.

От жалости к себе и своему телу, которое, чтобы добиться ласки, вынуждено прибегать к таким кошмарным методам, я разрыдался. И даже в попытке насилия у меня случилась неудача. Я выл, плакал очень долго, а потом, задыхаясь и плача, все-таки нашел выход — взял столовый нож с зазубринами и в полчаса, не переставая при этом плакать, спилил открывающие кнопки-рычажки с наручников, и они стали настоящими, открывались уже теперь только с помощью ключа. Делая это, я видел себя со стороны, и как писатель решил, что эта жуткая сцена годится для Голливуда, — Лимонов, плачущий от горя **над наручниками для своей любимой** и стачивающий столовым ножом кнопку-предохранитель.

Наручники я так и не пустил в дело, как и веревку. Мечта изнасиловать Елену шла бок о бок с мечтой убить ее. Недели за две до покупки наручников, я, уже сумасшедший, поднял ковер, нелепый ковер в нашей спальном комнате, и пристроил под ковром веревку-удавку, один конец ее закрепив за трубу в углу комнаты, из второго я сделал затягивающуюся петлю, чтобы в самом крайнем случае, когда станет совсем неважно, легко и бесшумно удавить ее. Потом я думал убить себя, способом... способы самоубийства все время менялись в моем воображении. Веревка пролежала там довольно долго, иногда мне кажется, что именно она спасла меня и Елену от гибели. Лежа рядом с Еленой ночами, чужие люди, всякий под своим одеялом, вдыхая исходящий от нее запах алкоголя и курева, тогда она пристрастилась к марихуане, кокаину и прочим прелестям, лежа, она чуть всхрапывала во сне, уставшая от оргазмов с ненавистными мне американскими мужчинами (вот почему я никогда не смогу уже любить тебя, Америка !), я все же успокаивался, вспоминая про веревку. Я все же знал, что протяни я руку под свою подушку — конец веревки окажется в моих руках, набросить петлю на рядом лежащую маленькую головку моей мучительницы ничего не стоило. Эта легкость и возможность все прекратить утешала меня, и, может быть, потому я миновал взрывы, которые могли привести к убийству, ведь я был уверен, что всегда могу убить ее, в любое время смогу. Благодаря веревке из меня постепенно вышла какая-то часть злости и безумия...

Все эти страшно­сти вспо­минаются мне, пока я складываю салфетки. Возвращает меня к действительности Николас — он сует мне в руки пустой кофейник, и я лечу на кухню, по дороге замечая, что молодая женщина и толстый человек, похожий на гангстера, кончили свой завтрак и ушли и что сам менеджер Фред убирает со стола и застилает чистую скатерть, в то время как это должен делать я. Мой промах окончательно меня отрезвляет, я бегу на кухню с такой скоростью, что на поворотах мне приходится хвататься за стену, чтоб не упасть от скорости. — Интересно, кто она ему, — думаю я на бегу, — безусловно не дочь: или жена или любовница. На представителя конгресса пульпы и пейпера он вроде не похож, а с другой стороны какого хуя так рано поднялся. С такой красивой женщиной меня лично хуй бы вынули из постели раньше обеда...

В нашем ресторане бывают, как видите, и женщины. Их куда меньше, чем мужчин, я гляжу на них с опаской, недоверием и простите... с восторгом. Увы. Я особенно на них гляжу — я презираю их, ненавижу, одновременно сознавая, что то, чем занимаюсь они, никогда мне не будет доступно. Какое-то преимущество имеют они передо мной, преимущество рождения. Я вечно их обслуживал в этой жизни, куда-то приглашал, раз­девал, ебал их, а они молчаливо лежали, или вскрикивали, или лгали и притворялись.

Меня и раньше иногда пронизывали острые приступы вражды к женщинам, настоящей злобной вражды. Потом была Елена, и вражда утихла, спряталась. Сейчас, после всего меня пронизывает острая зависть к Елене, а так как в ней для меня воплотился весь женский род, то и зависть к женщинам вообще. Несправедливость биологическая возмущает меня. Почему я должен любить, искать, ебать, сохранять — сколько еще можно было бы нагромоздить глаголов, а она должна только пользоваться. Я думаю, моя ненависть исходит от зависти, что у меня нет пизды. Мне почему-то кажется, что пизда более совершенна, чем хуй.

— У суки, — думаю я, глядя на приходящих в наш ресторан хорошо ухоженных девиц и дам. Как-то раз один из подобных взглядов поймали мои товарищи — басбой. Темнолицый преступный тип со вставными зубами — басбой Патришио, указав на женщину, на которую я взглянул, насмешливо спросил меня: "Ду ю лайк леди?" Я сказал, что я был три раза женат. Патришио и Карлос недоверчиво посмотрели на меня. "Мэби ю лайк мэн?" — спросил заинтересованно Патришио, дыша на меня алко­голем. Он допивал за посетителями оставшийся в бокалах алкоголь. Потом это стал делать и я, заходя обычно за какую-нибудь ширму. Я и доедал порой за посетителями то, что они не доедали. Как восточный человек я, например, очень люблю жирное мясо. Посетители такие куски оставляли, я же не был брезглив.

А та беседа о женщинах и мужчинах закончилась восхитившим и Карлоса, и Патришио моим ответом, что вообще-то я люблю женщин, но могу и об­менять предмет любви и любить впредь мужчин. Потом нас разогнал появившийся метрдотель Рикардо, мы побежали кто за маслом, кто за салфетками, кто убрать освободившиеся грязные тарелки у посетителей из - под носа.

Когда я поступал в ресторан, у меня грешным делом мелькала мысль, что я буду здесь на людях и смогу завести какие-то знакомства. О, как я был глуп! Официанты и посетители, да что официанта, и метрдотеля самого отделяет от посетителей железная стена. Никакого сближения не наблюдалось. Первые дни я лез со своей рожой и фигурой на глаза всем красивым посетительницам и симпатичным мне посетителям. Мне казалось, они должны обратить на меня внимание. Только потом я понял, что я им и на хуй не нужен. Мысль о сближении, о знакомствах была полнейшей чепухой, господа, и появилась она у меня только потому, что я еще был не совсем здоров после моей истории.

Мои товарищи по работе неплохо ко мне относились. Латиноамериканцы называли меня "Россия". Почему они присвоили мне имя страны, откуда я сбежал, не знаю. Может быть, им это имя было приятнее, чем мое, привезенное из России, но довольно обычное для Америки имя — Эдвард. Мой китайский приятель Вонг вообще во мне

души не чаял, особенно после того как я ему помог с бельем. Дело в том, что на каждого из басбоев приходилась обязанность раз в три дня привозить из подвала, из прачечной огромный короб с чистым бельем и выгружать его в кладовую, где у нас хранилась всякая всячина — кроме белья — свечи, сахар, перец и прочие необходимые вещи. Я любил кладовую, любил ее запах — чистого белья и пряностей. Иногда я туда забегал среди работы — сменить полотенце или быстро сжевать кусок мяса, оставшийся в тарелке какого-нибудь пресыщенного посетителя, и бежал дальше. Так вот, я как-то помог Вонгу после работы сгрузить белье и разложить его по полкам в кладовой — вдвоем это получается куда быстрее, но здесь почему-то не делают так. Вонг так благодарил меня, что мне стало неудобно.

В общем, ничего хорошего этот побег в чужую страну мне пока не дал — если в СССР я общался с поэтами, художниками, академиками, послами и очаровательными русскими женщинами, то здесь, как видите, мои друзья — носильщики, басбои, электрики, гарды и посудомойки. Впрочем, моя прошлая жизнь уже не ебет меня, я ее так прочно стараюсь забыть, что, думаю, в конце концов забуду. Так надо, иначе всегда будешь ушибленным.

Иной раз я что-нибудь уношу из отеля домой. Какую-нибудь мелочь. Ворую. А хуля. В моей голой тюремной камерке в "Винслоу" становится чуть веселее, когда я приношу в нее клетчатую красную с белым скатерть и накрываю ей стол. Через несколько дней появляется вторая скатерть, потом красная салфетка. На этом мое устроительство заканчивается. Я ворую из ресторана еще несколько ножей, вилок и ложек и все, больше вещей мне не нужно. Согласитесь, что это разумно. Хилтон поделился с "Винслоу" чуть-чуть.

Возвращаясь с работы домой, я занимаюсь английским, я хочу сказать, что тогда в марте у меня было такое расписание — после работы я учил английский язык. Или я шел в кинотеатр, чаще всего в дешевый и близкий "Плейбой" на 57-ю улицу и смотрел два фильма за доллар. Возвращаясь домой по ночному Нью-Йорку, я злился и мечтал, я думал о мире, о сексе, о женщинах и мужчинах, о богатых и бедных. Почему один ребенок рождается в богатой семье, и с детства имеет все, чего бы ни пожелал, а другие... эти другие в моем представлении были люди вроде меня, те, к кому мир несправедлив.

Приходя домой, я ложился в постель и, сознаюсь, господи, ведь во мне все еще бродила живая распутная Елена, сознаюсь, я лежал — лежал, вздыхал — вздыхал, жалел свое никому не нужное тело, а оно было молодым и красивым, уже тогда я, дрожа от холода, загорал на великолепной крыше невеликолепного "Винслоу", действительно молодым и красивым, ребята, и так мне было больно, что я не нужен Елене, так страшно, что я, не убегая от своих страхов, воспоминаний и воображения, пытался получить удовольствие от них. Я использовал их — воспоминания и страхи — я в томлении млял свой член, я не специально, это получалось по-звериному автоматически — ложась в постель, я неизменно думал об Елене, беспокоясь, почему ее нет рядом, ведь последние годы она лежала со мной, почему же ее сейчас нет. Короче, я в конце концов совокуплялся с духом. Обыкновенно совокупления были групповыми — то есть она ебалась с кем-то у меня на виду, а потом я ебал ее. Закрыв глаза, я представлял все это и порой воздвигал очень сложные конструкции. Во время этих сеансов глаза у меня были полны слез — я рыдал, но что мне оставалось делать — я рыдал и кончал, и сперма выплескивался на мой уже загорелый живот. Ах, какой у меня животик — вы бы посмотрели — прелесть. Бедное эдичкино тельце, до чего довела его паршивая русская девка. Сестра моя, сестричка! Дурочка моя!

Она вытесняла меня в мир мастурбации на ее тему уже давно. С осени, когда завела любовника и стала меньше делать это со мной. Я чувствовал неладное и говорил: "Елена, признайся, у тебя ведь есть любовник?" Она не очень-то отказывалась, но не говорила ни да, ни нет, она томительно шептала мне что-то горячее и возбуждающее, и

мне бесконечно хотелось ее. И при воспоминании о том ее горячем шепоте хочется до сих пор, у меня постыдно встает хуй.

Она вытесняла меня, я при живой красивой двадцатипятилетней жене со сладостной пипкой должен был, спрятавшись, как вор, нарядившись в ее вещи, это почему - то доставляло мне особенное удовольствие, выплескивать свою сперму на ее благоухающие трусики. Тогда она завела себе малиновое едкое с красивым запахом масло и им мазала свою пипку, так что все трусики пахли этим маслом.

Друзья мои, если вы спросите, почему я не нашел себе другую женщину, но Елена ведь была слишком великолепна, правда, и все другое казалось бы мне убогим в сравнении с ее пипочкой. Я предпочитал ебаться с тенью, чем с грубыми бабами. Да их и не было под рукой в то время. Когда же они появились, как вы увидите, я пытался ебаться с ними, ебался, а потом опять уходил в свой причудливый мир, они были неинтересны мне и поэтому ненужны. Мои одинокие интеллектуальные развлечения с тенью Елены отдавали чем - то преступным и были куда более приятны мне. У меня до сих пор звучит в ушах Еленин голос, этой фразе, этому тонкому голосочку я обязан доброй полсотней оргазмов: " Я кладу туда пальчик, давлю и легонько глажу свою пипку и смотрю в зеркало и постепенно вижу, как из меня выделяется белый сок, изнутри моей розовой пипки появляется белая капля ". Таким рассказиком она сопровождала одно из моих последних соитий с ней, она, видите ли, кроме всего прочего, то есть меня, Жана, Сюзанны и компании, еще и мастурбировала. Ей, видите ли, было мало нас всех. Стерва.

Помню скандал, это было в день первого знакомства ее с Сюзанной - лесбиянкой, она целый вечер обнималась и целовалась с ней. Я почти силой утащил ее тогда домой, она шипела и упиралась. Дома скандал вспыхнул еще сильнее. Она уже разделась, чтобы спать. Визгливо и пьяно, не выговаривая шипящих, как обычно, когда она была пьяна, Елена кричала на меня. И тут я ощутил сошествие на меня некоего мазохистского экстаза. Я любил ее — бледное, тощее, малогрудое создание в блядских трусиках - лоскутке, уже надевшее мои носки, чтобы спать. Я готов был отрезать себе голову, свою несчастную рафинированную башку и броситься перед ней ниц. За что ? Она сволочь, стерва, эгоистка, гадина, животное, но я любил ее и любовь эта была выше моего сознания. Она унижает меня во всем, и мою плоть унизила, убила, искалечила ум, нервы, все, на чем я держался в этом мире, но я люблю ее в этих оттопыренных на попке трусиках, бледную, с лягушачьими ляжками, ляжечками, стоящую ногами на нашей скверной постели. Люблю ! Это ужасно, что все более и более люблю.

Такие воспоминания вместе с размазанной по животу спермой сопровождали мои отходы ко сну. В 5.30 я просыпался от точно таких же кошмаров и стряхивая их с себя, включал свет, ставил себе кофе, брился (брить у меня до сих пор на моей монгольской роже нечего) повязывал траурный черный платок на шею и уебывал в Хилтон. На улице было пусто, я хуячил по своей 55-й стрит на Вест, поеживаясь от холода. Думал ли я, что мне придется испытать такое в жизни ? Честно признаюсь, что я никогда не ожидал всего этого. Русский парень, воспитанный в богемной среде. " Поэзия, искусство — это высшее, чем можно заниматься на Земле. Поэт — самая значительная личность в этом мире ". Эти истины внушались мне с детства. И вот я, оставаясь русским поэтом, был самой незначительной личностью. Крепко дала мне жизнь по морде...

Шли дни, и отель Хилтон со всеми его вонючими подземельями уже не был для меня загадкой. Язык мой продвинулся ровно на полсотни профессиональных терминов, мне некогда было разговаривать, я должен был работать, за что и получал деньги, а не разговаривать. Кухня вся говорила по-испански, итальянцы между собой по-итальянски, все языки звучали в " лакейской " комнате, как говорили в старину, нашего ресторана, кроме правильного английского. Даже наш мэнэджер Фрэд был австриец. С некоторых пор менеджер вдруг стал называть меня Александром. Может быть, в его представлении все русские были Александрями. Что удивительного, всех рабов - фракийцев в Риме назы-

вали просто фракиец, хули с нами, рабами, церемониться. Поглазев на многонациональных хилтоновских рабов, я знал уже теперь, на чем держится Америка. Я осторожно сказал Фреду, что я не Александр, а Эдуард, он поправился, но на следующий день я опять стал Алексаидром. Больше я Фреда не поправлял, я смирился, какая разница, что за имя.

Ресторан стал надоедать мне. Единственное, что он мне приносил — немного денег, и я мог осуществить на эти деньги кое-какие мои мелкие желания, например, купил в магазине "Аркадия" на Бродвее, познакомившись заодно с его хозяином, черную кружевную рубашку. Как воспоминание о "Хилтоне" и "Олд Бургунди" висит у меня в шкафу белый костюм, купленный в магазине "Кромвель" на Лексингтон авеню. Но сам ресторан надоел мне, уставал, мысли о Елене не исчезали, иногда вдруг, явившись среди работы, они покрывали меня всего холодным потом, несколько раз, я здоровый парень, чуть не свалился в обморок. А главное, я постоянно видел своих врагов, тех, кто увел у меня Елену — наших посетителей, людей, имеющих деньги. Я сознавал, что я несправедлив, но ничего не мог с собой поделать, а разве мир справедлив со мною?

И более всего я ненавижу этот порядок — понял я, когда пытался разобраться в своих чувствах, порядок от рождения развращающий людей. Я не делал разницы между СССР и Америкой. И я не стеснялся самого себя оттого, что ненависть пришла ко мне через такую в сущности понятную и личную причину — через измену жены. Я ненавидел этот мир, который переделывает трогательных русских девочек, пишущих стихи, в охуевшие от пьянки и наркотиков существа, служащие подстилкой для миллионеров, которые всю душу вымотают, но не женятся на этих глупых русских девочках, тоже пытающихся делать свой бизнес. Каунтри-мэны всегда имели слабость к французенкам, выписывали их в свои Клондайки, но держали их за блядей, а женились на фермерских дочках. Я уже не мог смотреть на наших "кастумерз".

Примерно в то же время я должен был ехать в Беннингтон, знакомиться с его женским колледжем и его профессором Горовцем. Я послал им как-то письмо о себе, и они, очевидно, хотели меня взять на работу, не знаю, как эта должность называется, что-то мелкое, но связанное с русским языком. Письмо я написал в охуении, в желании куда-то себя деть, но когда профессор Горовец после нескольких звонков наконец поймал меня в моем "Винслоу", я понял, что никакой Беннингтон и его американские студентки из хороших семей меня не спасут, что я сбегу из Беннингтона в Нью-Йорк через неделю. Со мной все было ясно. Я не хотел играть в их игру. Я хотел быть, как и в России, вне игры.

Утром в темноте, идя на работу, я за эти шесть минут совершал экскурс по всей мировой литературе — столько в мою голову всякий раз лезло строчек. Ни хуя себе официант! Больше всего почему-то, едва ли не каждый день, вспоминалось мне стихотворение великого нашего русского поэта Александра Блока "Фабрика"... В соседнем доме окна желты... Дальше я пропускал ненужные мне строчки и полностью произносил последнюю строфу:

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели...

И вот, идя на работу, возвращаясь с работы я чувствовал себя таким нищим, одним из тех, кого провели. Моя родная русская литература не давала мне стать простым человеком и жить спокойно, а вот хуй-то, она дергала меня за красную куртку басбоа и высокомерно и справедливо поучала: "Как тебе не стыдно, Эдичка, ведь ты же русский поэт, это каста, дорогой, это мундир, ты уронил честь мундира, ты должен уйти отсюда. Лучше нищим, лучше как жил в конце февраля — нищим бродягой".

Э, я не вполне доверял своей русской литературе, но я прислушивался к ее голосу, и она меня все-таки домучила. Постоянное "И в желтых окнах засмеются, что этих нищих

провели ", под желтыми окнами я подразумевал Парк-авеню, Пятую и их обитателей, заставило меня однажды подойти к Фрэнду менеджеру и сказать ему : " Простите, сэр, но, посмотрев на эту работу, я пришел к выводу, что такая работа не для меня, я очень устаю, а мне нужно учить английский, я хочу уйти. Вы видели, я хорошо работал, если вам нужно я выйду еще один или два дня, но не более того ".

Я хотел, но не сказал ему, что я не могу, органически не могу прислуживать, и мне неприятны наши посетители.

В период Хилтона, в мои последние дни пребывания там совершил я еще несколько действий — написал письмо " Вери атрактив леди " и послал одиннадцать своих стихотворений в Москву, в журнал " Новый мир ".

" Вери атрактив леди " напечатала свое объявление в " Вилледж Войс ". Ей 39, она хочет компаньона для путешествия по маршруту " Париж, Амстердам, Санта-Фэ и так далее ". Маршрут мне подходил, о чем я и написал леди, 39. Сейчас я вспоминаю об этом с иронией, тогда мне казалось, что это единственный мой шанс и что она непременно клонет на русского поэта. К тому же в феврале в " Нью-Йорк ревью оф бук " в статье о русской сегодняшней литературе Карл Проффер посвятил мне несколько строчек, о чем я без зазрения совести, как продавец, выхваляющий свой товар, и написал " вери атрактив леди ". Я до сих пор жду ее ответа. А что, это был шанс выплыть, попасть из искусственной жизни, которой я живу до сих пор, в настоящий мир. Неважно, может быть, я зарезал бы " вери атрактив леди " на третий день " фаворайт трипс ", как она выразилась. К ее счастью, у нее оказалось мало фантазии. Вспоминая бесстыдную свою похвалу в том письме, я даже немного стесняюсь.

Письмо в редакцию журнала " Новый мир " написал я из озорства и любви к скандалу. Почти будучи уверен в том, что стихи мои не напечатают, не отказывал я себе в удовольствии поморочить голову и тем, и этим. Совесть моя была спокойна, печатал же свои книги Солженицын, живя в СССР, здесь на Западе, его совесть не мучила, по сути дела он думал только о своей писательской карьере, но не о последствиях или влиянии своих книг. Почему же я не могу, живя здесь, печатать свои стихи там, в СССР ? Меня достаточно использовали государства, мог же наконец и я их использовать. Несколько шансов на напечатание у меня были — ведь мне и моей статье " Разочарование ", из-за которой, как я уже упоминал, я вылетел из " Русского Дела " — московская " Неделя " уделила целую страницу в номере за 23-29 февраля. По совпадению свыше это были как раз те дни, в которые я, охуев, с гноящейся рукой, закутавшись в грязное пальто, найденное на мусоре, бродил по февральскому Нью-Йорку, подбирая объедки из мусорных корзин и допивая капли из винных и других алкогольных бутылок. Я много в те дни скитался в Чайна-тауне, ночевал с бродягами, выдержал я такой жизни шесть дней, на седьмой вернулся с опаской в квартиру на Лексингтон, увидел опять свою жуткую выставку вещей Елены, развешанных по стенам, с этикетками под каждой такого содержания :

" Чулочек Елены — белый "

Где второй неизвестно

Она купила белые чулочки уже когда была знакома с любовником, и тогда же купила два тонких пояска — в них она с любовником и ебалась — Лимонову Эдичке грустно и страстотерпно ".

Или :

" Тампакс

Елены Сергеевны
неиспользованный,
девочка моя могла вложить

его в свою пипку — у нее
смешно тогда торчала, висела
из пипки нитка”.

Предметы висели на гвоздях и плечиках, были прикреплены к стенам клейкой лентой. Веселенькая выставка была, да ? Как бы вам такое понравилось, если бы вы были приглашены на такую выставку ? А я пригласил людей 21 февраля, и человек десять выставку видели, и пришел и отснял ее на фото пленку Сашка Жигулин, так что она у меня на трех пленках есть.

Безумный был я, признаю, выставка ” Мемориал Святой Елены ” называлась. Вернувшись из бродяг, я содрал, жмурясь и отворачиваясь, все эти вещи со стен и начал новую жизнь, которая и привела меня к Хилтону и Вэлфэру и к отелю ” Винслоу ”. Ебанный в рот, сколько событий прокатилось по мне за это время, и, кажется, я медленно крепну изю дня в день, я это ощущаю.

И когда я покинул Хилтон, когда я в последний мой день хуячил с работы, я смеялся, как глупый ребенок, ведь я свалил со своих плеч очередную тяжесть, очередной этап. Только Вонга было жалко, но я надеялся найти его, когда он будет мне нужен. Сейчас я еще не мог быть ему полезен.

ДРУГИЕ И РАЙМОН

Я, вообще-то говоря, очень быстро выкарабкался из моей истории. Правда, я и сейчас еще не совсем выкарабкался, но все равно темп поразительный. Мне известно о других таких трагедиях, и люди поднимались не скоро, если вообще поднимались. Еще в марте у меня были первые попытки сближения с мужчинами, а в апреле я уже имел первого любовника.

Ну так вот, в марте Кирилл, молодой аристократ из Ленинграда, как-то сказал мне, что у него есть знакомый мужик лет пятидесяти с лишним и что он педераст.

Почему-то я это запомнил. — Кирюша, — стал просить я его, — бабы вызывают у меня отвращение, моя жена сделала для меня невозможным общение с женщинами, я не могу с ними иметь дело, их всегда нужно обслуживать, раздевать, ебать, они от природы попрошайки и иждивенцы во всем — от интимных отношений до нормальной экономической совместной жизни в обществе. Я не могу больше жить с ними, а главное я не могу их обслуживать. Мне нужен друг, в себе я не сомневаюсь, я всегда нравился мужчинам, всегда лет с 13-ти я им нравился. Мне нужен заботливый друг, который бы помог мне вернуться в мир, человек, который любил бы меня. Я устал, обо мне никто давно не беспокоился, я хочу внимания, и чтоб меня любили, со мной возились. Познакомь, а остальное я беру на себя, уж я ему точно понравлюсь.

Я не врал Кириллу, действительно так и было. У меня даже были многолетние поклонники, я принимал их ухаживания со смешком, но чем-то их внимание мне было приятно, порой я даже позволял себе сходить с ними в ресторан, а иной раз, шутки и какого-то раздражения ради, позволял им меня поцеловать, но я никогда не ебался с ними.

Самым моим настойчивым поклонником был рыжий певец из ресторана ” Театральный ” — Авдеев. Я тогда только перебрался жить к Анне — седой красивой еврейской женщине, и мы жили вместе как муж и жена, у меня было счастливое время,

хорошо шли стихи, я жил весело, много пил, у меня был хороший кофейного цвета английский костюм, доставшийся мне не совсем честным путем, я много гулял и флианировал по главной улице нашего города вместе с моим другом — красавчиком Геннадием, Геночкой, сыном директора крупнейшего в нашем городе ресторана.

Отношения с Геной, думаю, были одной из граней моей врожденной гомосексуальности, — ради встреч с ним я убегал от жены и тещи, прыгал со второго этажа. Я его очень любил, хотя мы даже не обнимались.

А до Геночки и ежевечерненаклоненной в приветствии фигуры Авдеева, еще когда я учился в школе, у меня был друг мясник Саня Красный, огромный, немецкого происхождения, с красноватой кожей человек, за что он и прозван был Красным. Был он старше меня не то на шесть, не то на восемь лет. Я являлся к нему в мясной магазин чуть не с утра, я всюду ходил с ним, я сопровождал его даже на свиданиях к девушкам, а кроме того у нас была более прочная связь — мы вместе работали — воровали. Я выступал в роли херувимчика-поэта — читал, обычно это происходило на танцевальной площадке или в парке, раскрывшим от удивления рты девушкам стихи, а Саня Красный в это время своими короткими, казалось бы неуклюжими пальцами, легко и незаметно, он был в этом деле большой артист, снимал с девушек часы и потрошил их сумочки. Рассчитано все было прекрасно, мы ни разу не попались. Как видите, мое искусство шло тогда бок о бок с преступлением. После дела мы отправлялись или в ресторан, или покупали пару бутылок вина, выпивали их прямо из горлышка в парке или в подворотне и шли гулять.

Я очень любил показываться с ним на улицах и в людных местах — он ярко одевался, носил золотые перстни, один был с черепом, это, я помню, потрясало мое воображение, вкус у него был, как у гангстеров, какими их изображают в кино. Он любил, например, в летний вечер быть в белых брюках, черной рубашке и белых же щегольских подтяжках, у него было пристрастие к подтяжкам. Огромный, даже с брюхом, которое с годами становилось у него все больше, он никак не походил на обычных в те годы довольно сереньких обитателей нашего промышленно-провинциального города с самым многочисленным на Украине пролетариатом.

Он был добрый по отношению ко мне, он поощрял меня к писанию стихов и очень любил стихи слушать. По его просьбе я несколько летних сезонов подряд на городском пляже читал изумленной толпе стихи, приблизительно такого содержания:

Мою девушку из машины
За руки вытаскают люди
Я посмотрю как мужчины
Ее насилуют будут
Мужчины с крутыми затылками
С запахом папирос дешевых
Кобелями забегают пылыми
Возле бедер твоих лажовых...

Смешно и грустно читать, эти стихи, написанные шестнадцатилетним человеком, но я вынужден признать перед самим собой, что есть в них неприятно-пророческая нотка — выбежал мир мою любовь — мою Елену и именно эти — с крутыми затылками — бизнесмены и коммерсанты ебут сейчас мою Еленушку...

Я был предан Сане душой и телом. Если бы он хотел, я бы наверное с ним спал. Но он, очевидно, не знал, что можно меня так использовать, или у него не было к этому наклонности, или он не был для этого достаточно тонок, а массовая русская культура не принесла ему этого на блюдечке, как приносит человеку американская.

Такова предистория. Любовь к сильным мужчинам. Признано и теперь вижу. Саня Красный был так силен, что ломал брусья в ограде танцевальной площадки, брусья же были толщиной в крепкую руку здорового человека. Правда, он делал это только тогда, когда у нас не было 50 копеек заплатить за вход.

Гена был высок, строен и похож на молодого Юла Бриннера. Синие глаза. Красивее мужика я не встречал.

Теперь-то мне понятны мои дружбы, это только две, наиболее запомнившиеся, были и другие, но много лет я жил, как в чаду, и только моя трагедия вдруг открыла мне глаза, я смог посмотреть на свою жизнь с неожиданной точки зрения.

Прошло какое-то время. Я пару раз звонил Кириллу и спрашивал как дела, когда же он сдержит обещание и познакомит меня с этим мужиком. Он что-то бормотал невнятное, оправдывался и явно выдумывал причины. Я уже совсем перестал на него надеяться, как вдруг он позвонил мне и сказал неестественно-театральным голосом: "Слушай, ты помнишь наш разговор — я сижу у приятеля, его зовут Раймон, он хотел бы тебя видеть, — выпьем, поболтаем, приходи — это рядом с твоим отелем". Я сказал — Кирюша, это тот мужик, педераст?

— Да, — сказал он, — но не тот.

Я сказал: — Хорошо, через час я буду.

— Приходи быстрее, — сказал он.

Я не стану лгать и говорить, что я с зажженными очами и огнем в чреслах поскакал туда. Нет. Я колебался и был слегка испуган. Я даже, может быть, с минуту хотел не идти. Потом долго думал, в чем идти — наконец, оделся очень странно, в рваные синие французские джинсы и прекрасный новый итальянский джинсовый пиджак, одел желтую итальянскую рубашку, жилет, разноцветные итальянские сапоги, шею обмотал черным платком и пошел волнуясь, конечно, волнуясь. Поживите столько лет подряд с женщинами, а потом попытайтесь перейти на мужчин. Заволнуется.

Квартира его — "вся в антиквариате", как говорили у нас в России. На стене Шагал с дарственной надписью, безделушки, картины изображающие, как потом узнал, самого хозяина в балетной пачке, фотографии и портреты танцовщиков и танцовщиц, включая Нуреева и Барышникова. Хорошо налаженный изящный холостяцкий быт. Три, может быть четыре комнаты, хороший запах, что всегда отличает апартаменты светских и богемных людей от квартир мещан и обывательских гнезд. В тех всегда воняет или пищей, или куревом, или чем-то затхлым. Я очень чувствителен к запахам. Хорошие духи для меня праздник, над чем в школе смеялись плебеи соученики. По запаху квартиры мне понравилась.

А вот и сам хозяин выворачивается из кресла мне навстречу. Рыжие, в меру длинные волосы, плотный, невысокого роста, немножко по-артистичному развязный, даже домашнему хорошо одетый. На шее — плотно бусы и какие-то приятные цепочки. На пальцах — бриллиантовые кольца. Сколько ему лет — неизвестно, на вид больше пятидесяти. На самом деле, очевидно, за шестьдесят.

Кирилл с ним на дружеской ноге. Они дружески переругиваются. Начинается разговор. О том о сем, или как писал Кузмин: "То Генрих Манн, то Томас Манн, а сам рукой тебе в карман". Нет, пока никаких рукой в карман, все очень прилично, три артистических личности, бывший танцовщик, поэт и молодой шалопай-аристократ, беседуют. Разговор прерывается предложением выпить холодной водки и закусить икрой и огурчиками. Хозяин идет на кухню, Кирилл берет с собой. "Я буду употреблять его для разрезывания огурцов". Мне он помочь не позволяет: "Вы — гость".

— Господи, блаженство-то какое! В последний раз я ел икру, кажется, в Вене — привез несколько баночек из России. Елена еще была со мной...

"Как хорошо, что он не набросился на меня сразу," — вот почти буквально, что я тогда думал. Выпив водки, я немного осмелею, и пока это будет происходить, я осматрюсь.

Он на меня пока не наседа, мирно и с сочувствием расспрашивал об отношениях с женой, не беря моих ран, а так, как бы между прочим. Сказал, что у него тоже была жена, когда он еще не знал, что женщины так ужасны, что давным-давно когда-то она

сбежала от него в Мексику с полицейским или пожарным, не помню точно, что она очень богатая и что у нее было двое детей от него. Один сын погиб.

— Я боюсь влюбляться, — сказал Раймон. У меня уже не тот возраст. Я боюсь влюбляться. А потом, если меня бросят, это будет трагедия. Я не хочу страданий. Я боюсь влюбляться.

Он выжидательно смотрел на меня и поглаживал мою руку своими пальцами в кольцах, из-под которых кое-где торчали рыжие волоски. Рука была тяжелая. Я тупо, как во сне, смотрел на эту руку. Я понимал, что он хочет знать, буду ли я его любить, если он оставит Луиса. Он просил гарантий. Какие гарантии мог я ему дать. Я ничего не знал. Он был хороший, но мне трудно было разобратся, есть ли у меня к нему сексуальная симпатия. Я мог понять это только после любви с ним.

Потом мы перешли от этого взрывоопасного момента. Не перешли — переползли с трудом. Он спросил меня о том, как я жил в Москве, и я терпеливо рассказал ему то, что мне пришлось уже может быть сотню раз рассказывать здесь, в Америке вежливым, но в основном безразличным людям. Я повторил ему все, только он не был безразличным. Он меня выбирал.

— Мои произведения не печатали журналы и издательства. Я печатал их сам на пишущей машинке, примитивно вставлял в картонную обложку, скреплял металлическими скрепками-скобками и продавал по пять рублей штука. Сборники эти оптом по 5-10 штук продавал я своим ближайшим поклонникам-распространителям, каждый из которых являлся центром кружка интеллигентов. Распространители платили мне деньги сразу, а потом распродавали сборники поштучно в своих кружках. Обычно Самиздат идет бесплатно, я единственный, кто продавал таким образом свои книги. По моим подсчетам мне распространили около восьми тысяч сборников...

Говорил я это Раймону заученно-монотонно, скороговоркой. Так читают скушные и надоевшие тексты вслух.

— Еще я умел шить и шил по заказу брюки. Брал я за одну пару 20 рублей, шил я и сумочки, и моя предыдущая жена Анна, помню, ходила продавать их в ГУМ — главный универсальный магазин на Красной площади по 3 рубля штука. Все это были неразрешенные, преследуемые в СССР способы добычи денег. Я сознательно рисковал каждый день...

Он не очень-то уже слушал меня. Моя русская арифметика мало его интересовала. 3 рубля, 20 рублей, восемь тысяч... У него были свои заботы. Я пришел за любовью и увидел, что от меня хотят любви. Он прикидывал, способен ли я. Это мне уже не нравилось. В этой роли — любящего, я уже потерпел поражение. Я тоже хотел гарантий. Я совсем не хотел возвращаться в старую шкуру.

Мы вышли в гостиную. В спальне Раймон объяснялся с телефонной трубкой по-французски. Мы остались поэтому в гостиной.

— Сегодня я встретил на 5-й авеню вашу бывшую жену, Эдичка, — сказал Кирилл и внимательно посмотрел на меня, ожидая эффекта. Япил свою водку и только чуть погодя сказал: — И что?

— Летит по 5-й, никого не видит, в каком-то красном жакете, зрачки расширены — наверное она колетса героином или нюхает кокаин, вся вздернутая, возбужденная. Едет, говорит, в Италию, на месяц сниматься, Золи ее посылает. "Как Лимонов, видишь его?" — спрашивает. Когда узнала, что я нашел тебе "друга" — Кирилл понизил голос, была очень довольна и сказала: "Ненавижу мужчин, найди мне старую богатую лесбиянку, чтоб ласкала меня, ебла, ебла искусственным членом" — Кирилл несколько раз повторил это "ебла", очевидно Елена произнесла тоже так — усиленно и несколько раз. Я вспомнил ее долгие и почти зверские оргазмы от искусственного члена, которые я сам ей устраивал, и у меня закружилась голова, вниз потекла теплота, после этих оргазмов я ебал ее с особенным удовольствием. Я хлебнул большой глоток водки, и

оставив свои ощущения, чувствуя свой наполнившийся хуй, стянул мутность и прислушался, заставил себя прислушаться к словам Кирилла. Он закончил фразу... после искусственным членом последовало — "и тогда наша семья будет полностью пристроена", — сказала она.

Дальше Кирилл пустился в рассуждения относительно того, что Елена не в его вкусе, и что я в ней находил, а я автоматически насмешливо улыбался ему, едва выбираясь в это время из нашей кровати, едва из нее "супружеской" выбираясь.

Слава Богу вошел Раймон — реальная личность из реального мира, и моя попытка кончилась. Мы выпили еще и еще. Через пол часа проведенные в светской беседе, Раймон стал через брюки поглаживать мой член, совершенно не стесняясь Кирилла. Я улыбался и делал вид, что ничего особенного не происходит.

Раймон не сидел рядом со мной, он тянулся к моему хую с кресла, я же был на диване. Это еще более усугубляло несерьезность ситуации. Я ничего не чувствовал от прикосновений Раймона, совершенно ничего, тут был Кирилл, а я не был здоровым крестьянским парнем из какой-нибудь Аризоны, у которого нормальные инстинкты и хуй естественно встает, если его трогают посторонние люди. Я был нелепый европеец с неестественными связями внутри организма, я был хороший актер, но я не мог управлять и этим. Слезы еще выжать, куда ни шло, но поднять хуй в такой ситуации? Я впрочем не знал, нужно ли это. Единственно подумал, что может быть нестоящий хуй его отпугнет. Нет не отпугнул, скорее наоборот.

Когда я через некоторое время вышел через спальню Раймона в обширный и художественно декорированный портретами и фотографиями туалет, сделал там пи-пи и, вытерев член салфеткой, возвращался, Раймон встретил меня в спальне. У него были странные глаза, губы цвета скисшей на солнце клубники, и он что-то бормотал. Бормоча, он прижался ко мне. Я был куда выше его, мне пришлось обхватить его спину и плечи руками. Мы топтались, он продолжал бормотать, и через брюки массировал мой член — зачем, я не мог понять. Со стороны мы были похожи очевидно на японских борцов. Наконец он стал подталкивать меня к кровати. Ну я шел, что мне оставалась делать, хотя какое-то неудовольствие тем, что он все это так нелепо совершает, появилось во мне и ширилось.

Он положил меня на кровать, я лег спиной, и он лег сверху, делая такие движения, как делают с женщиной, когда ее ебут. Некоторое время он занимался этой имитацией тяжело дышал и сопел у меня над ухом, целовал в шею, я откидывал голову и катал ее из стороны в сторону совершенно так же, как это делала моя последняя жена, я поймал себя на этом, очевидно такое же было у меня и выражение лица. Эти вещи передаются.

Раймон был тяжелый и неудобный. При всем моем раздражении я сочувствовал ему, сознавая себя неумелой девственницей. "Тяжело ему со мной придется," — подумал я. Но неудовольствие от того, что он все это так глупо и неудобно устраивает, не покидало меня.

А в соседней комнате Кирилл говорил по телефону, и дверь не была закрыта. Ах вот почему он бормотал что-то нечленораздельное, а не говорил нормально — понял я. Я вообще слишком много думал в этот момент. Не буду думать решил я и возвратился к действительности. Тяжелый рыжий дядька копошился на мне. Хорошенькая ситуация, Эдичка, вы лежите и сейчас вас кажется выебут. Впрочем вы этого хотели. — Ну положим я не именно ебли хотел, а любви, ласки, я так устал без ласки, и как естественное продолжение и ласки для моего хуя. Но то что происходит — чепуха какая-то. Неужели ему не хватает тонкости понять, что со мною нужно не так. Или он не боится испугать меня, не дорожит мною.

Он сполз ниже, расстегнул zipper на моих брюках, но не мог расстегнуть ремень, не знал устройства. Я мысленно улынулся. Точно так же моя первая женщина запуталась в

моем ремне — тот был советский армейский моего папы ремень, не могла расстегнуть ремень у мальчишки. Этот же — итальянский. Первый мужчина. Нет, не хуя не расстегнешь, не знаешь устройства. Хуй с тобой — помогу. И я, не меняя томного выражения лица, опустил руку из-за головы, где они все это время находились, вниз и расстегнул ремень.

Он в горячке сдвинул мои красные трусики и вынул его — член. Господи, он был скрюченный и маленький, как у мальчика, и от прикосновения его схватившей ладони выступила, выкатилась как слезинка, капелька мочи. Сколько не вытирай салфетками, эта капелька всегда таится в глубине, чтобы выкатиться при удобном случае. Интересно, как Раймон справится с ним. — А ты думал легко ебать травмированных? — хотелось мне ему сказать. Он дергал и мял мой член. Грубовато, поспешно, — думал я.

В соседней комнате Кирилл укорял в чем-то свою Жаннетту. И нехотя, но я прислушивался к голосу Кирилла, разбирал отдельные слова. Раймон дергал и мял, мне было неудобно, одно его колено давило мою ногу, я вдруг понял, что не хуя у него не получится, что я сейчас встану и сбегу, и чтобы не навредить себе и не обидеть его, я быстро прошептал томно: "Кирилл услышит!"

Он понял, встал, а может отчаялся что-либо сделать с моим членом, но он встал и ушел в сомнамбулическом состоянии в ванную комнату.

Я поставил точку на Раймоне, хотя кто-то кому-то должен был звонить, и как-то выйдя из отеля, я, красиво одетый, встретил того же Раймона, а с ним Себастьяна в черном костюме и белой глупой шляпке из соломки, "очень дорогой", по мнению вездешнего Кирилла, которого я ждал и который вскоре подошел, с ними был еще мальчик мексиканец. Выглядели они, как кавказские родственники, приехавшие в гости к дяде Раймону в Москву. Они были очень озабочены, вся компания искала какое-нибудь новое место, где можно было бы пообедать. "Нам бы их заботы!" — сказал завистливо Кирилл. Увидав на противоположной стороне улицы мексиканский ресторан, Раймон и его кавказские родственники заспешили туда. С полпути Раймон обернулся и посмотрел на меня. Я улыбнулся и помахал ему рукой. Тогда я уже выспался с Крисом, у меня уже был Крис.

КРИС

Я говорю, что в поисках спасения я хватался за все. Возобновил я и свою журналистскую деятельность, вернее, пытался восстановить. Мой ближайший приятель Алька, тоже пришибленный изменой своей жены и полной своей ничтожностью в этом мире, жил в это время на 45-й улице между 8-ой и 9-ой авеню в апартаменте — студии, в хорошем доме, расположенном по соседству с бардаками и притонами. Он, очкастый интеллигент, осторожный еврейский юноша, вначале побаивался своего района, но потом привык и стал чувствовать в нем себя, как дома.

Мы часто собирались у него, пытались найти пути к публикации своих статей — идущих вразрез с политикой правящих кругов Америки, в американских газетах, а вот в каких именно мы не знали — "Нью-Йорк Таймс" нас отказывалась замечать, мы ходили туда еще осенью, когда я работал в "Русском Деле" корректором, как и Алька. Мы сидели тогда друг против друга и быстро нашли общий язык. Мы носили в "Нью-Йорк Таймс" наше "Открытое письмо академику Сахарову" — "Нью-Йорк Таймс" нас в грубу видела, они нас и ответом не удостоили. Между тем письмо было куда как не

глупое и первый русский трезвый голос с Запада. Интервью с нами и пересказ этого письма был все-таки напечатан, но не в Америке, а в Англии, в лондонской "Таймс". В письме мы говорили об идеализации Западного мира русскими людьми, писали, что в действительности в нем полно проблем и противоречий, ничуть не менее острых, чем проблемы в СССР. Короче говоря, письмо призывало к тому, чтобы прекратить подстрекать советскую интеллигенцию, ни хуя не знающую об этом мире, к эмиграции и тем губить ее. Потому-то "Нью-Йорк Таймс" его и не напечатала. А может, они посчитали, что мы не компетентны или не отреагировали на неизвестные имена.

Факт остается фактом, мы так же, как и в России, не могли в Америке печатать свои статьи, то есть высказывать свои взгляды. Здесь нам было запрещено другое — критически писать о Западном мире.

Вот мы собирались с Алькой на 45-й улице, в доме 330 и решали, как быть. Человек слаб, часто это сопровождалось пивом и водкой. Но если пиджачник государственный деятель побоится сказать, что он сформулировал то или иное решение государственное в промежутке между двумя стаканами водки или виски, или сидя в туалете, меня эта якобы неуместность, несвоевременность проявлений человеческого таланта и гения всегда восхищала. И скрывать я этого не собирался. Скрывать — значит искривлять и способствовать искривлению человеческой природы.

Где-то сказано, что роденовский "Мыслитель" навскось лжив. Я согласен. Мысль это не высокое чело и напряжение лицевых мышц, это скорее вялое опадание всех лицевых складок, стекание лица вниз, расслабленность и бессмыслица должны на нем в действительности отражаться. Тот, кто наблюдателен, мог не раз заметить это на себе. Так что Роден мудака. Мудаков в искусстве много, как и в других областях. Если бы он подписал свою скульптуру "Мысль", все было бы верно — внутри человека мысль напряжена, но именно поэтому внешнее в пренебрежении в этот момент. Человек, умеющий думать, похож в период протекания мыслительного процесса на амебу бесформенную. И точно так же вдохновенный поэт с горящим взором, когда я наблюдал за собой, оказывался с почти стертым лицом и тусклыми глазами, насколько я мог, не меняя лица, показать его зеркалу.

Зазвонил телефон.

— Что делаешь? — спросил оживленный голос Александра.

— Пью галлон вина, едва выпил треть, — говорю, — а хочу выпить весь. Обычно галлон бургундского из Калифорнии вполне меня успокаивает.

— Слушай, приходи, — сказал Александр, бери бутылку с собой и приходи. Выпьем, у меня еще есть и водка. Хочется крепко выпить, — добавил Александр.

— Сейчас, — сказал я, — упакую бутылку и приду.

Внизу, от пикапа, содержащего вещи Багрова — переселенца, меня окликнули, — сам Багров, Эдик Брутт и еще какой-то статист. Куда идешь? — говорят. — Иду говорю на 45-ю улицу, между 8-й и 9-й авеню. — Садись, — говорит Багров, — довезу, я туда почти, на 50-ю и 10-ю авеню переселяюсь.

Я сел. Поехали. Мимо колонн пешеходов, мимо позолоченного и пахнущего мочой Бродвея, мимо сплошной стены из гуляющего народа. Мой взгляд любовно вырывал из этой публики долговые фигуры причудливо одетых черных парней и девушек. У меня слабость к эксцентричной цирковой одежде, и хотя я по причине своей крайней бедности ничего особенного себе позволить не могу, все-таки рубашки у меня все кружевные, один пиджак у меня из лилового бархата, белый костюм — моя гордость — прекрасен, туфли мои всегда на высоченном каблуке, есть и розовые, и покупаю я их там, где покупают их все эти ребята — в двух лучших магазинах на Бродвее — на углу 45-й и на углу 46-й — миленькие, разудаленькие магазинчики, где все на каблуках и все вызывающее и для серых нелепо. Я хочу, чтобы даже туфли мои были праздник. Почему нет?

Я же достал нож и стал им играть.

Любовь к оружию у меня в крови, и сколько себя помню еще мальчишкой, я обмирал от одного вида отцовского пистолета. В темном металле мне виделось нечто священное. Да я и сейчас считаю оружие священным и таинственным символом, да и не может предмет, употребляемый для лишения человека жизни, не быть священным и таинственным. В самом очертании всех деталей револьвера есть какой-то вагнеровский ужас. Холодное оружие с другими очертаниями не составляет исключения. Мой нож выглядел сонливо. Он явно знал, что в ближайшее время ничто интересное его не ожидает, никакой хорошей работы не предстоит, потому он скучал и равнодушичал.

— Спрячь нож, — сказал Багров, — да и приехали. — Я вылез, попросился и ввергся со своим галлоном в подъезд, нож же занял место в сапоге, пошел спать.

В тот вечер наверное было как обычно. Александр очевидно рассказал мне что в газету пришло какое-нибудь письмо от какого-то диссидента, может, от Краснова-Левитина, может, хитрый Максимов прислал очередной свой призыв, направленный не столько против советской власти, сколько против западной левой интеллигенции, "оглохшей от пресыщения и праздности", или бородатый Солженицын удивил мир очередной глубокой мыслью по поводу мироустройства или какой-нибудь человек предложил еще что-нибудь отделить от СССР, какую-нибудь территорию. Эти имена наших "национальных героев" не сходили у нас с языка.

В своем желании уничтожить ненавистный галлон мы уже вели себя, как рвущиеся к победе спортсмены. Я к тому же имею дурную привычку смешивать напитки. Для оживления, как я утверждал, я выпил еще в промежутках между красным бургундским еще пару банок эля и несколько стаканчиков водки. Поэтому не удивительно, что время стало темным мешком и что следующее озарение, открытие глаз, назовите как угодно, обнаружило меня и Александр в каком-то храме. Шла служба. Одного я не мог понять — синагога это или другой какой храм. Больше я склонялся к тому, что это синагога. Мы сидели на лавке, Александр почему-то все время улыбался, вид у него был очень радостный. Может, ему что-то только что подарили. Может, деньги.

Следующий свет вспыхнул, когда я вошел на территорию какого-то огороженного участка, как бы для детей. Темные углы всегда тянули меня. Помню, и в Москве я любил ходить в заколоченные дома, которых все боялись и где как будто жили бандиты.

Я по железной лесенке влез на деревянный помост — спустил ноги и сидел на краешке помоста, болтая ногами. Хуля делать, ночь, я ждал приключений и поглядывал по сторонам. Было тихо, хотя откуда-то издалека доносились крики, топот, кто-то кого-то ловил, музыка, шарканье подошв. Я сидел и болтал ногами. Свободная личность в свободном мире. Можно было совершить все что угодно. Зарезать кого-нибудь, к примеру. Все было доступно и просто. Алкоголь выветривался. Свободной личности надоело сидеть на помосте. Она прыгнула вниз. Я прыгнул вниз, в песок.

И тут я увидел Криса. То есть я, конечно, только потом узнал, что его зовут Крис. Прислонившись к кирпичной стене, сидел черный парень. Широкая черная шляпа лежала рядом на песке. Потом я имел время ее рассмотреть, она была украшена темнозеленой лентой, расшитой золотыми нитками. Вообще, как я потом увидел, он был одет в эти три цвета — черный, темно-зеленый и золотой. Эти цвета включала его жилетка, его брюки, туфли и рубашка. Но когда я спрыгнул и увидел его прямо перед собой — он предстал мне черным парнем, одетым в черное — таинственно и холодно сверкавшим мне навстречу глазами.

— Хай ! — сказал я.

— Хай ! — равнодушно ответил он.

— Меня зовут Эдвард, — сказал я, сделав пару шагов по направлению к нему. Он издал какой-то ничего не значащий презрительный звук.

— У тебя ничего нет выпить ? — спросил я его.

— Фак офф ! — сказал он, что значит отъебись.

Я подумал — интересно, почему он тут сидит, на пьяного или наркомана он не похож, нет этой осовелости, спать если собрался здесь, так вроде на бродягу не похож. Может, скрывается от полиции ? Я не из тех, кто кого-то выдает. Я бы еще ему и помог спрятаться. Злой только он очень. Я посмотрел на него и сделал еще несколько шагов по направлению к нему и присел рядом с ним. Он холодно наблюдал и не двигался. Я, сидя на корточках, заглянул ему в лицо.

Широкий хищный нос, глубоко уходящие ноздри, губы необычайные для черного — строгие и не пухлые, крепкая грудь. Здоровый парень, наверное, если встанет будет, на голову выше меня. Молодой, лет 25-30, не больше. Широкие штаны черных брюк лежат на песке.

— Слушай, как тебя зовут ? — сказал я.

Тут уж он не выдержал, видно, я ему крепко надоел со своим разглядыванием и расспросами. Он молча и быстро бросился на меня. Прямо из своей сидячей позиции он метнулся и моментально скрутил меня, через мгновение я уже лежал под ним, и, судя по всему, он собирался меня придушить, и совсем, не слегка.

Я сразу отказался от борьбы с ним, у меня была слишком невыгодная позиция. Единственное, что я успел сделать, когда он метнулся на меня, это подвернул правую руку под правое бедро, и одновременно подогнул под себя правую ногу. Таким образом, подмятый им, я лежал на правом боку. Это была хорошая хитрость, потому что моя спрятанная кисть свободно проникла в сапог и схватилась за рукоять ножа. Если он имеет намерение придушить меня совсем — я зарежу его, — подумал я холодно. Он придавил меня всего, но правая рука могла свободно двигаться. Этого он не учел.

Мне не было страшно. Честное слово, совершенно не страшно. Я же говорю, что имел тогда какой-то подсознательный инстинкт, тягу к смерти. Пуст делался мир без любви, это только короткая формулировка, но за ней — слезы, униженное честолюбие, убогий отел, неудовлетворенный до головокружения секс, обида на Елену и весь мир, который только сейчас, честно и глумливо похотывая, показал мне, до какой степени я ему ненужен и был ненужен всегда, не пустые, но наполненные отчаянием и ужасом часы, страшные сны и страшные рассветы.

Этот парень душил меня, это было справедливо, потому что два месяца назад я душил Елену, ведь ничто не должно оставаться безнаказанным, он душил меня, а я не торопился со своим ножом. Может быть, я его и не вынул бы вовсе, или вынул, не знаю, но он внезапно ослабил руки, может, гнев его прошел. Мы лежали задыхаясь, он тоже задыхался от усилий, душить нелегко, я это знаю по себе, не так это просто, как кажется.

Пахло сырым песком, шаркали подошвы за оградой, это по улице проходили одинокие ночные прохожие. Внезапно я высвободил свои руки и обхватил ими его спину.

— Я хочу тебя, — сказал я ему, — давай делать любовь ?

Я не навязывался ему, неправда, все произошло само собой. Я был невиновен, у меня встал хуй от этой возни и от тяжести его тела. Это не была тяжесть Раймоновой туши, природа тяжести этого парня была другая. Я сказал ему : " Давай делать любовь ", но он и сам наверное понял, что я его хочу — мой хуй наверняка воткнулся в его живот, он не мог его не почувствовать. Он улыбнулся.

— Бэби, — сказал он.

— Дарлинг, — сказал я.

Я перевернулся, приподнялся и сел. Мы стали целоваться. Я думаю, мы были с ним

одного возраста, или он был даже младше, но то что он был значительно крупнее и мужественнее меня, как-то само собой распределило наши роли. Его поцелуи не были старческим слюнопусканием Раймона, теперь я понимал разницу. Крепкие поцелуи сильного парня, вероятно, преступника. Верхнюю губу его пересекал шрам. Я осторожно погладил его шрам пальцами. Он поймал губами и поцеловал мою руку, палец за пальцем, как я делал когда-то Елене. Я расстегнул ему рубашку и стал целовать его в грудь и в шею. Особенно я люблю обниматься как дети, закидывая руки далеко за шею, обнимая шею а не плечи. Я обнимал его, от него пахло крепким одеколоном и каким-то острым алкоголем, а может быть, это был запах его молодого пота. Он доставлял мне удовольствие. Я ведь любил красивое и здоровое в этом мире. Он был красив, высок, силен и строен, и наверняка преступник. Это мне дополнительно нравилось. Непрерывно целуя его в грудь, я спустился до того места, где расстегнутая рубашка уходила в брюки, скрывалась под брючным поясом. Мои губы уперлись в пряжку. Подбородок ощутил его напряженный член под тонкой брючной материей. Я расстегнул ему zipпер, отвернул край трусиков и вынул член.

В России часто говорили о сексуальных преимуществах черных перед белыми. Легенды рассказывали о размерах их членов. И вот это легендарное орудие передо мной. Несмотря на самое искреннее желание любви с ним, любопытство мое тоже выскочило откуда-то из меня и глазело. "Ишь ты, черный совсем, или с оттенком", — впрочем не очень хорошо было видно, хотя я и привык к темноте. Член у него был большой. Но едва ли намного больше моего. Может, толще. Впрочем, это все на глаз. Любопытство спряталось в меня. Вышло желание.

Психологически я был очень доволен тем, что со мной происходило. Впервые за несколько месяцев я был в ситуации, которая мне целиком и полностью нравилась. Я хотел его хуй в свой рот. Я чувствовал, что это доставит мне наслаждение, меня тянуло взять его хуй к себе в рот, и больше всего мне хотелось ощутить вкус его спермы, увидеть как он дергается, ощутить это, обнимая его тело. И я взял его хуй и первый раз обвел языком напряженную его головку. Крис вздрогнул.

Я думаю, я хорошо умею это делать, очень хорошо, потому что от природы своей человек я утонченный и не ленивый, к тому же я не гедонист, то есть не тот, кто ищет наслаждения только для себя, кончить во что бы то ни стало, добиться своего оргазма и все. Я хороший партнер — и получаю наслаждение от стонов, криков и удовольствия другого или другой. Потому я занимался его членом безо всяких всяких особых размышлений, всецело отдавшись чувству и повинаясь желанию.левой рукой я, подобрав снизу, поглаживал его яйца. Он постанывал, откинувшись на руки, постанывал тихо, со всхлипом. Может быть, он произносил: "О май Гат!"

Постепенно он очень раскачался и подыгрывал мне бедрами, посылая свой хуй мне поглубже в горло. Он лежал чуть боком на песке, на локте правой руки, левой чуть поглаживая мою шею и волосы. Я скользил языком и губами по его члену, ловко выводил замысловатые узоры, чередуя легкие касания и глубокие почти заглатывания его члена. Один раз я едва не задохнулся. Но и этому я был рад.

Что происходило с моим членом? Я лежал животом и членом на песке, и при каждом моем движении тер его о песок сквозь мои тонкие джинсы. Хуй мой отзывался на все происходящее сладостным зудением. Вряд ли я хотел в тот момент еще чего-нибудь. Я был совершенно счастлив. Я имел отношения. Другой человек снизошел до меня, и я имел отношения. Каким униженным и несчастным я был целых два месяца. И вот наконец. Я был ему страшно благодарен, мне хотелось чтоб ему было очень хорошо, и я думаю ему было очень хорошо. Я не только поместил его крепкий и толстый хуй у себя во рту, нет, эта любовь, которой мы с ним занимались, эти действия символизировали гораздо большее — символизировали для меня жизнь, победу жизни, возврат к жизни. Я причащался его хуя, крепкий хуй парня с 8-й авеню и 42-й улицы, я почти не сом-

неваюсь, что преступника, был для меня орудие жизни, сама жизнь. И когда я добился его оргазма, когда этот фонтан вышвырнулся в меня, ко мне в рот, я был совершенно счастлив. Вы знаете вкус спермы ? Это вкус живого. Я не знаю ничего более живого на вкус, чем сперма.

В упоении я вылизал всю сперму с его хуя и яиц, то что пролилось я подобрал, подлизал и проглотил. Я разыскал капельки спермы между его волос, мельчайшие я отыскал.

Я думаю Крис был поражен, вряд ли он понимал, конечно, он не понимал, не мог понимать, что он для меня значит и его поражал энтузиазм, с каким я все это проделал. Он был мне благодарен, со всей нежностью, на какую он был способен, гладил мою шею и волосы, лицом я уткнулся в его пах, и лежал не двигаясь, так вот он гладил меня руками и бормотал " Май бэби, май бэби ! "

Слушайте, есть мораль, есть в мире приличные люди, есть конторы и банки, есть постели, в них спят мужчины и женщины, тоже очень приличные. Все происходило и происходит в одно время. И были мы с Крисом, случайно встретившиеся здесь в грязном песке, на пустыре огромного Великого города, Вавилона, ей-Богу Вавилона, и вот мы лежали, и он гладил мои волосы. Беспризорные дети мира.

Я никому не был нужен, больше чем за два месяца никто и рукой не прикасался ко мне, а тут он гладил меня и говорил " Мой мальчик, мой мальчик ! " Я чуть не плакал, несмотря на свой вечный гонор и иронию, я был загнанное существо, вконец загнанное и усталое, и нужно мне было именно это — рука другого человека, глядящая меня по голове, ласкающая меня. Слезы собирались, собирались во мне и потекли. Его пах отдавал чем-то специфически мускусным, я плакал, глубже зарываясь лицом в теплое месиво его яиц, волос и хуя. Я не думаю, чтоб он был сентиментальным существом, но он почувствовал, что я плачу, и спросил меня почему, насильно поднял мое лицо и стал вытирать его руками. Здоровенные были руки у Криса.

Ебаная жизнь, которая делает нас зверями. Вот мы сошлись здесь, в грязи, и нам нечего было делить. Он обнял меня и стал успокаивать. Он делал все так, как я хотел, я этого не ожидал. Когда я волнуюсь — у меня поднимаются все волоски на теле, как бы мельчайшие уколы, сотни, тысячи мельчайших уколов поднимают мои волоски, мне становится холодно, и я дрожу. Впервые за долгое время я не относился к себе с жалостью. Я обнимал его шею, он обнимал меня, и я сказал ему " Ай эм Эди. У меня никого нет. Ты будешь любить меня ? Да ? И мы всегда будем вместе ? Да ? "

Он сказал : " Да бэби, да, успокойся "

Тогда я оторвался от него, нырнул правой рукой в сапог и вытащил мой нож : " Если ты изменишь мне, — с еще не высохшими слезами на глазах сказал я ему, — я зарежу тебя ! " По слабому знанию английского языка все это звучало очень тарабарски, такая сложная фраза, но он понял. Он сказал, что не изменит.

Я сказал ему : — Дарлинг !

Он сказал : — Май бэби !

— Мы будем всегда ходить с тобой вместе и не расставаться, да ? — сказал я.

— Да бэби, всегда вместе, — сказал он серьезно.

Я не думаю, чтобы он врал. У него были свои дела, но я, охуевший от одиночества, ему подходил. Это не значило, что мы навеки соединялись в наших отношениях. Просто сейчас я был нужен ему, я мог бы с ним встречаться, он бы меня ждал в барах или просто на улицах, может быть и наверняка я принял бы участие в каких-то его делах, возможно, криминальных. Мне было все равно, каких делах, я хотел этого — это была жизнь, я был нужен жизни, пусть такой, да какой угодно, но нужен. Он брал меня, я был совершенно счастлив, он брал меня. Мы разговаривали. Тогда-то я и узнал, что его зовут Крис. Он сказал, что утром мы пойдем к нему, туда, где он живет, но ночь мы должны пересидеть здесь. Я не стал расспрашивать, почему, с меня было достаточно того, что он предложил

мне жить у него. Я был как собака, опять нашедшая хозяина, я перегрыз бы сейчас за него глотку любому полицейскому или кому угодно.

Мы вполголоса беседовали на том же тарабарском языке. Иногда я забывался и начинал говорить по-русски. Он тихонько смеялся, и я тут же научил его нескольким словам по-русски. Это не были с точки зрения порядочного человека хорошие слова, нет, это были плохие слова — хуй, любовь и еще что-то в том же духе.

Мне захотелось его среди этой беседы, я совсем распустился, я черт знает что начал творить. Я стащил с себя брюки, мне хотелось, чтоб он меня выебал. Я стащил с себя брюки, стащил сапоги. Труссы я приказал ему разорвать на мне, мне хотелось, чтоб он именно разрывал, и он послушно разорвал на мне мои красные трусики. Я отшвырнул их далеко в сторону.

В этот момент я действительно был женщиной, капризной, требовательной и наверное соблазнительной, потому что я помню себя игриво вихляющим своей попкой, упершись руками в песок. Моя оттопыренная попка, которой оттопыренности завидывала даже Елена, она делала что-то помимо меня — она сладостно изгибалась, и помню что ее голость, белизность и незащищенность доставляли мне величайшее удовольствие. Думаю это были уже чисто женские ощущения. Я шептал ему: "Фак ми, фак ми, фак ми!"

Крис тяжело дышал. Думаю, я до крайности возбуждал его. Я не знаю, что он сделал, возможно, он смочил свой хуй собственной слюной, но постепенно он входил в меня, его хуй. Это ощущение заполненности я не забуду никогда. Боль? Я с детства был любитель всевозможных диких ощущений. Еще до женщин, мастурбирующим подростком, бледным онанистом я придумал один самодельный способ — я вставлял в анальное отверстие всякие предметы — от карандаша до свечки — иногда довольно толстые предметы — этот двойной онанизм — хуя и через анальное отверстие — был, помню, очень животным, очень сильным и глубоким. Так что его хуй в моей попке не испугал меня, и мне не было очень больно даже в первое мгновение. Очевидно, я растянул свою дырочку давно. Но восхитительное ощущение заполненности — это было ново.

Он ебал меня, и я начал стонать. Он ебал меня, а одной рукой ласкал мой член, я ныл, стонал, изгибался и стонал громче и сладостней. Наконец он сказал мне: "Тише, бэби, кто-нибудь услышит!" Я ответил, что я ничего не боюсь, но подумав о нем, все же стал стонать и охать тише.

Я вел себя сейчас в точности так же, как вела себя моя жена, когда я ебал ее. Я поймал себя на этом ощущении, и мне подумалось. "Так вот какая она, так вот какие они!" — и ликование прошло по моему телу. В последнем судорожном движении мы зарылись в песок, и я раздал свой оргазм в песке, одновременно ощущая горячее жжение внутри меня. Он кончил в меня. Мы в изнеможении валялись в песке. Хуй мой зарылся в песок, его приятно кололи песчинки, чуть ли не сразу он встал вновь.

Потом одевшись, мы устроились поудобнее, чтобы спать. Он занял свое прежнее место у стены, а я устроился возле, положив голову ему на грудь и обняв его руками за шею — позу эту я очень люблю. Он обнял меня, и мы уснули...

Я не знаю, сколько я спал, но я проснулся. Может, прошел час, может, несколько минут. Было все так же темно. Он спал, дышал равномерно. Я проснулся и больше не мог заснуть. Я прилепился к нему, разглядывал его и думал.

— Да, несомненно, я неисправим, — думал я. — Если первая моя женщина была пьяной ялтинской проституткой, то мой первый мужчина конечно же должен был быть найден мною на пустыре. Ту девицу я отчетливо помнил. Она подобрала меня летней ночью на автовокзале в Ялте. Ей понравился смазливый мальчишка, дремавший на лавке со своим другом. Она подошла ко мне, разбудила и нагло увела меня в скверик за автовокзалом, там она спокойно легла на лавку, была она под платьем вся голая. Я помню солоноватый вкус ее кожи и еще мокрые волосы — она только что искупалась в море, помню ее поразившую меня очень развитую крупную пизду со многими складками, всю

как бы текущую слезью, ведь ей хотелось мальчишку, она ебла меня не за деньги, а по желанию. Южные запахи, жирная южная ночь сопровождали мою первую любовь. Наутро мы с приятелем уехали из Ялты.

Судьба подсмеивается надо мной. Теперь я лежу с уличным парнем. Годы не внесли в меня существенных изменений. "Босьяк, как есть босьяк", — подумал я с удовольствием о себе, и опять стал разглядывать Крису. Он пошевелился, как бы ощущая мой взгляд, но потом опять застыл во сне.

Косые блики света от ближнего фонаря кое-где пробивались сквозь железные переплетения помоста. Пахло бензином, я был сполкен и удовлетворен, к ощущению довольства и спокойствия примешивалось ощущение достигнутой цели. — Ну вот и стал настоящим педерастом, — подумал я и слегка хихикнул. — Не испугался, переступил кое в чем через самого себя, сумел, молодец Эдька ! И хотя в глубине души я знал, что я не совсем свободен в этой жизни, что до абсолютной свободы мне еще довольно далеко, но все же шаг, и какой огромный, по этому пути был мною сделан.

Я ушел от него в 5.20. Так показывали часы, которые я увидел, выбравшись на улицу. Я обманул его, ушел тихо, как вор, не разбудив его, соскользнув с его груди. Зачем я это сделал ? Не знаю, может быть, я боялся дальнейшей жизни с ним, не сексуальных отношений, нет, может быть, я боялся чужой воли, чужого влияния, подчинения меня ему. Может быть. Неосознанное, но довольно сильное чувство двигало мной, когда я обманом вылез из его объятий и, озираясь на него, искал свои железные очки и ключ от номера в отеле. Раза два мне показалось, что он смотрит, но он спал. Я чудом разыскал в песке очки, тогда я еще носил очки, но это меня мало портит, все равно я выглядел забубенной личностью, Эдичкой, охувшим человеком. Я отыскал очки, кое-как выполз на улицу и зашагал прочь с каким-то странным, доселе неизвестным удовольствием, покидая Крису и наши будущие отношения, которые, возможно, были одним из вариантов моей судьбы.

Я шел и отряхивался. В волосах у меня был песок, в ушах песок, в сапогах песок, везде был песок. Блядь возвращалась с ночных походов. Я улыбался, мне хотелось крикнуть жизни : " Ну, кто следующий ! " Я был свободен, зачем мне нужна была моя свобода я не знал, куда нужнее был мне тогда Крис, но я вопреки здравому смыслу уходил от него. Выйдя на Бродвей, я заколебался было, но всего мгновение и снова решительно зашагал в сторону Иста.

Спустя пару недель я уже буду проклинать себя за то, что ушел от него, мутная тишина и одиночество снова надвинутся на меня, снова будет мучить образ злодейки Елены, и уже в конце апреля будет у меня припадок, сильнейший, страшный припадок ужаса и одиночества, но тогда, придя в отель и спросив второй ключ и поднявшись на свой этаж и бросившись устало в постель, я был счастлив и доволен собой, так же как и на следующее утро, когда, проснувшись, лежал с улыбкой и думал о том, что конечно я единственный русский поэт, умудрившийся поебаться с черным парнем на нью-йоркском пустыре. Блудливые воспоминания о Кресе, сжимавшем мою попку, и его утихомиривающий мои стоны шепот " Тэйкэт изи, бэби, тэйкэт изи " — заставили меня радостно пасхототаться.

КЭРОЛ

Я познакомился с ней в мае в Квинсе, вечером. У нас много общего — у меня отец коммунист, у нее родители фермеры-протестанты. И она для своих родителей " анфан-террибль ", и я тоже для своих блудный сын и " анфан-террибль ".

Она была ученицей одного из моих знакомых, он давал уроки русского языка, и Кэрл была его ученицей. Как-то он сказал мне " У меня новая ученица — левая, она из троцкистской партии ". Я сказал : " Познакомьте меня, дорогой, пожалуйста ". — Мы с ним на вы. Я давно хотел познакомиться с кем-то из левых партий, приблизительно рассчитывая свое будущее, я понимал, что мне без левых не обойтись, рано или поздно я к ним приду. Ведь я не подходил к этому миру.

Долго мы собирались встретиться, мой приятель был нетороплив и очень осторожен. Осторожность он привез из СССР. Наконец вечером в мае я вошел к моему приятелю и увидел блондинку. Худая, она конечно была с сигаретой, курила она все время и выкуривала только полсигареты, остальное погружала в пепельницу, и это остальное у нее очень дымилось. Она сносно говорила по-русски, сигареты упрямо называла папиросами, и после некоторых вступительных предложений сразу же погрузила меня в вопрос о необходимости для русских признать независимость украинцев. Ох ! Меня куда больше интересовала в тот момент другая проблема, мне нужны люди, много знакомств, связей, люди и люди. Отношения с людьми снились мне в моих снах, я тосковал без людей, к русским же не шел, потому что они ничего не могли мне дать. Я рвался в этот мир, русские же мне были известны до тонкости и неполноценность их здесь отталкивала меня. Я был бессильно-сильный, я не хотел покориться несправедливым порядкам этого мира, как не покорялся несправедливым порядкам мира советского. Русские же почти все покорились, они приняли это мироустройство.

Анфас Кэрл была совсем без изъянов, даже красивой. В профиль что-то в ее лице было не то, какое-то происшествие между губами и носом. Но это я придираясь, после жены-красавицы говорю. Тогда я носился, и именно в тот вечер тоже, с очередной нашей с Александром статьей, которую нужно было срочно перевести и никто не хотел этого делать, потому что людей способных на это было немного, сделав нам одолжение один раз и не получив за это денег, люди не хотели делать это во второй и в третий.

Кэрл вызвалась переводить сама. Уже одно это мне понравилось. В вопросе о предоставлении независимости Украине я ее поддержал, но выразил сомнение в целесообразности делить шкуру неубитого медведя сейчас, именно сейчас, когда Советское государство столь сильно как никогда. Я не сказал, что это смешно. Но подумал. К тому же, добавил я, связи между русскими и украинцами сейчас на Украине куда крепче, чем кажется украинцам-эмигрантам, достаточно сказать, что на территории Украины живет 9 миллионов русских...

В разговор включился писатель-преподаватель и его жена. Писатель здесь в Америке становился день ото дня все большим поклонником России и патриотом своего народа, хотя до этого рвался из России и вот вырвался. Явление это для русского человека естественное. Писатель считал, что русский и украинский народы столь родственны и по языку и по культуре, что нет необходимости делить их искусственно, что если, например, действительно реально нужна независимость прибалтийским народам — латышам, эстонцам и литовцам, которые мало чего общего имеют с русским языком и русской культурой, то украинцам, белоруссам и русским лучше и естественнее жить вместе, чем разделяться и обособляться.

Я думаю, писатель был ближе к истине, чем член троцкистской " Социал Воркерс Партии " Кэрл, дочка фермеров-протестантов, ибо он исходил из действительного положения вещей, а она из партийной программы и веяния времени, согласно которому независимости и самоопределения достойны все народы и национальные группы, будь их всего ничего, полтора человека.

Я не высказал тогда своего затаенного мнения, что не разделяться следует национальностям, а соединяться, но только не на базе государств, где кучка национальной провинциальной интеллигенции опять будет строить из себя великих правителей, насаждая в мире новые отсталость и варварство, нет. Что нужно тотально

смешаться всем национальностям, отказаться от национальных предрассудков — "крови" и тому подобной чепухи, во имя единения мира, даже во имя того, чтобы прекратились национальные войны, даже ради одного этого стоит смешаться. Смешаться биологически, сознавая опасность национальностей. Евреи и арабы, армяне и турки — хватит всего этого — нужно остановиться, наконец.

Я думаю, для этих идей ни Кэрол, ни писатель не были готовы — слишком круто. Поэтому я промолчал, и только сказал, что вот как же быть со мной, — у меня отец украинец, мать — русская, что же делать, а? В какое государство мне переселиться — в украинское, в русское? Кому сочувствовать, за кого быть. К тому же я одинаково хорошо знаю оба языка и воспитан на русской культуре.

Они не знали, что сказать. — Нужна независимость! — сказала убежденная Кэрол. О кэй! — хорошо, пусть будет независимость. Но легче ли будет украинскому Лимонову в украинском государстве. Вот я жил в русском — русский писатель, а что я имел? За десять лет ни одного опубликованного произведения. Вопрос состоит не в том, чтобы добиться для всех национальностей независимости, а в другом — как перестроить основы жизни человеческой, чтобы хотя бы избавить мир от войн, чтоб от имущественного неравенства избавить, чтобы от всеобщего убийства жизни работой избавить, чтоб мир любви научить, а не злобе и ненависти, к чему ведет национальное выделение неизбежно.

Я всего этого не сказал. Подумают, сумасшедший. Как это "мир от работы избавить". Даже для левого я был сумасшедший. Лучше промолчать, а то с первого знакомства отвернется троцкистка, не станет общаться. А мне общение ой как нужно было.

Мы ели яшницу и котлеты, пили вино и допивали водку, разговор с украинского самоопределения перешел на ебаную надоевшую Эдичке статью его "Разочарование". Эдичка написал и напечатал до хуя статей. Но заметили именно эту, потому что я впервые в ней написал, что западный мир не оправдал надежд, которые возлагали на него евреи и неевреи, уезжавшие из России, что во многом он оказался даже хуже, чем мир советский. После этой статейки получил Эдичка репутацию агента КГБ и левого, но именно эта статейка, слава Богу, позволила мне автоматически порвать с болотом русской эмиграции. Быстро и безболезненно.

Статью разрешил печатать сам редактор и владелец газеты. Он поступил опрометчиво, желание острой статьей вызвать интерес к газете, коммерческой выгоды поиск подвели его. 29 февраля московская "Неделя" — воскресное приложение к "Известиям" — правительственная газета в СССР, в юбилейном номере, посвященном 25-ому съезду партии, на целую страницу хуйнула статью "Это горькое слово" "Разочарование" — о моей статье и обо мне отчасти. Даже был коллаж В. Метченко, где на фоне небоскрегов голова молодого человека в очках, соответствующая голове Эдички Лимонова.

Естественно, они там использовали мою статью для своих целей, но это уж как водится, нас все используют для своих целей. И только мы, люди, не используем их, государства. Для чего они тогда нужны, неизвестно, государства, если они не только не служат людям, но идут против людей.

Поговорили мы о злополучной статье. Писатель в вопросах политики осторожничал и не вмешивался, троцкистка Кэрол конечно соглашалась со мной в моих критических взглядах на Америку и весь западный мир, но переоценивала диссидентское движение в СССР, считая его куда более сильным и многочисленным, чем оно было на деле.

Мне было скучно объяснять навязшие на зубах российские несчастья, но пришлось. Я вяло заметил Кэрол, что диссидентство — явление сугубо интеллигентское, связей с народом не имеет, что движение это очень малочисленно — все протесты подписывают одни и те же люди: 20-50 человек. А сейчас, — сказал я, — большинство виднейших представителей этого движения уже находятся за границей.

Еще я сказал, что считаю диссидентское движение очень правым, и если единственная цель их борьбы — заменить нынешних руководителей советского государства другими — Сахаровыми и Солженицыными, то лучше не нужно, ибо взгляды у названных личностей путанные и малореальные, а фантазии и энергии сколько угодно, что эти люди явно представляли бы опасность, находясь они у власти. Их возможные политические и социальные эксперименты были бы опасны для населения Советского Союза и опасны тем более, чем больше у них фантазии и энергии. Нынешние же руководители СССР, слава Богу, довольно посредственны для того, чтобы проводить радикальные опыты, но в то же время они обладают бюрократическим опытом руководства, неплохо знают свое дело, а это в настоящее время куда более необходимо России, чем все нереальные проекты возврата к февральской революции, к капитализму и тому подобная чепуха...

Приблизительно такого содержания разговор состоялся у нас тогда. Маша, жена писателя, предлагала выпить еще водки, пыталась организовать нас для этого, но мы были слишком увлечены. Просидели мы едва не до двух часов, хотя утром революционерке Кэрол предстояло из Бруклина ехать в Манхэттен на службу в ее офис, где она служила секретаршей. Вышли мы вместе.

— В первый раз встречаю русского с такими левыми взглядами, — сказала Кэрол.

— Я не один, у меня есть друзья, которые разделяют мои взгляды, немного, но есть, кроме того, все приезжающие из России здесь непременно влевеют, особенно молодежь, — сказал я.

— Если тебя интересует левое движение, — сказала Кэрол, — я могу тебя приглашать иногда на наши собрания, которые организует "Социал Воркерс Парти".

Потом мы ехали в собее. "Ты хочешь пойти на митинг в защиту прав палестинского народа?" — спросила меня Кэрол, — Правда, это очень опасный митинг. Я думаю, даже немногие наши товарищи придут на него".

— Конечно хочу, — сказал я с искренним удовольствием. Опасный митинг только и нужен был мне в этом мире. Если б она сказала, приходи завтра в такое-то место — получишь автомат и патроны, будешь участвовать в акции, например, в захвате самолета, я был бы конечно куда больше рад, но и митинг это было неплохо. Я не кривлю душой, меня полностью устроила бы только революция, но можно было начать и с митинга.

— Я приду с другом, — сказал я, имея в виду Валентина, — можно?

— Да, конечно, — сказала Кэрол. — Если твой друг не боится. За нами обычно смотрят, мы все на учете. Ты наверное читал в газетах — наша партия ведет дело против ЭфБиАй, за то что они на протяжении многих лет подслушивали нас, срывали замки в помещениях партии, контролировали наши бумаги, подсылали провокаторов.

— Да, я читал об этом в газетах.

— Ты знаешь, что ЭфБиАй, когда я стала членом "Социал Воркерс Партии", прислала моим родителям письмо, они живут в Иллинойсе, мои родители, что я стала членом "Социал Воркерс Партии". Они всегда так подло поступают, чтобы сеять раздор в семьях. Мои родители протестанты, они простые люди, они не любят черных, они не любят чужих, они расисты, брат мой — правый, для них это был страшный удар. Мы долгое время не поддерживали отношений, — сказала Кэрол.

— У вашей ЭфБиАй такие же методы, как у КаГЭБ, — сказал я. — В России КГБ поступает так же.

— А ты знаешь, что ЭфБиАй имеет список в 28 тысяч по всей Америке. Эти люди будут тотчас арестованы в один день, если вдруг какая-нибудь опасность возникнет для режима. Это те, кто считается лично опасными, ну, например, имеют влияние, могут возглавить людей. На одном из первых мест стоит фамилия Норман Мэйлер. Ты знаешь о нем? — продолжала Кэрол.

— Я читал его в России, — сказал я, — кое-что переводили.

Слова Кэрол меня не удивляли. Еще в Советском Союзе я встречался и поддерживал тесные отношения с австрийскими левыми, у меня было несколько таких знакомых, и я знал лучше других русских положение дел на Западе. Они мне многое рассказывали. Лиза Уйвари, гуляя со мной у Ново-Девичьего Монастыря, помню, говорила "Уезжать из СССР можно, только если есть непосредственная угроза жизни". Моя Елена всегда тянула меня вправо, теперь Елены не было. И теперь я уже хорошо знал этот мир, у меня не было иллюзий.

На следующий день мы встретились — я, она и Валентин, и поехали в Бруклин. У корпуса, где должно было состояться собрание, мы увидели множество полиции, машины и отдельные группки молодежи стояли там и сям, оживленно разговаривая и что-то обсуждая. Я с удовольствием втянул носом воздух. Пахло тревогой. Пахло хорошо.

— Наших товарищей предупредили, что Еврейская лига обороны хочет устроить беспорядки, постарается сорвать митинг, — сказала Кэрол, усмехаясь, испытующе поглядывая на нас с Валентином. Мне-то что, я перекаати-поле, я русский украинец, есть во мне и осетинская кровь и татарская, я только и ищу приключений, а вот Валентин еврей, для него участие в митинге в защиту прав палестинского народа, пожалуй, можно считать противоестественным. Так мне казалось, пока мы не поднялись в зал. Среди сидящих в зале было много евреев. Я перестал беспокоиться за Валентина.

Но прежде чем подняться через плотную стену полиции и гардов в зал, мы еще подождали, пока молодой парнишка принес нам листовки, служащие пропусками на митинг.

В зале присутствовало несколько арабских юношей, которые продавали левую литературу. Был еще один стенд с литературой. Кроме того, носили "Милитант" и другие левые газеты. Людей было немного.

Постепенно митинг начался. В президиуме было человек шесть, в том числе двое черных — представители черных организаций. Первый выступал студент ливанец, он говорил о гражданской войне в Ливане, я запомнил из его речи одно место, где он сказал, что цель его товарищей из ливанских левых группировок не завоевание власти в Ливане, не борьба с Израилем, а мировая революция! Это мне понравилось, я ему очень хлопал.

После ливанца выступал небольшого роста человек неопределенной национальности. Может быть, он был похож на мексиканца или латиноамериканца. Это был профессиональный оратор, речь его была четкой, отработанной, остроумной, и убедительной.

— Это Питер, руководитель нашей районной организации, — прошептала мне Кэрол.

— Хорошо чешет, профессионально, — сказал я с завистью, подумав, что когда еще я смогу говорить так как он, а мне очень хотелось выступить и сказать от имени современных русских парней, что не все у нас дерьмо продажное, не все идут работать на радио Либерти и поддерживают их лживую власть.

— Что значит — "чешет"? — спросила Кэрол.

— Говорит, — сказал я, — я-то забыл, что Кэрол не могла знать русского слэнга.

Питер оказался не латиноамериканцем, а евреем, что он в конце митинга и использовал, очень остроумно и ловко отвечая на вопросы парня в тубетейке — это был видимо очень хороший и честный еврейский парень, судя по тому, как он волновался и нервничал, говоря о палестинском вопросе. Питер терпеливо ответил ему и в конце нанес решающий удар, легко и резко вдруг сказав, что не следует путать сионизм и евреев, что он, Питер, кстати сказать, тоже еврей. Изящность его выступления я оценил, оценили и присутствующие, наградив Питера аплодисментами.

Просто, не так изящно и профессионально, как Питер, но веско и убедительно выступали оба черных. Мне они понравились. Боевые ребята. С такими ребятами я бы участвовал в любом деле.

За стеклянными стенами зала, где происходил митинг, все время шлялись какие-то подозрительные личности, каждые несколько минут совершали обход гарды и полицейские. Какой-то шепоток тревоги был слышен в воздухе. Перед дверьми в зал постоянно находилась кучка еврейской молодежи без опознавательных знаков, неизвестной политической принадлежности. Но наконец митинг кончился, и как будто благополучно. Люди не спешили расходиться. Некоторая тревога вновь прозвучала в словах гарда, который сказал, что следует выходить через такой-то выход, потому что он охраняется полицией, через другие же выходы выходить не рекомендуется.

Мне всего этого конечно было мало. В сапоге у меня как обычно был нож, мне хотелось драки. К членам Лиги обороны я ничего не имел, националисты всех народов одинаковы. Однако мне был ближе Валентин и ближе был Лев Давидович Троцкий, чем сомнительные национальные догмы.

Однако ничего не случилось, к моему разочарованию. Преступный Эдичка не получил возможности. По дороге Кэрл познакомила меня со своими товарищами, среди которых было несколько некрасивых еврейских девушек в мятых штанах, парень в брезентовой защитного цвета робе с открытым лицом, он работает в нашей типографии в "Милитанте" — сказала Кэрл. Все они, каждый в разной степени говорили по-русски. Парень был переводчиком. Сейчас их издательство выпускало на русском языке книгу Троцкого "История русской революции". Впоследствии, через месяц я получу эту книгу и буду первым русским человеком, который ее прочтет. Первым, не считая тех, кто читал ее в манускрипте Троцкого.

Книга оставит во мне смешанное чувство. Над некоторыми страницами, где описывались вооруженные народные шествия, я буду рыдать и шептать в своей каморке: "Неужели у меня этого никогда не будет!" Плакать от восторга зависти и надежды над толстой трехтомной книгой, над нашей русской революцией. "Неужели у меня этого никогда не будет!"

Другие страницы книги вызывали у меня злость — особенно те, где Троцкий с возмущением пишет о том, что после Февральской революции Временное правительство опять загоняло рабочих на предприятия, требовало продолжить нормальную работу на заводах и фабриках. Рабочие негодовали "Революцию мы сделали, а нас опять на заводы загоняют!"

"Проститутка Троцкий! — думал я, а что вы заставили делать рабочих после вашей Октябрьской революции — то же самое, потребовали, чтоб рабочие вернулись к работе. Для вас — провинциальных журналистов, недоучившихся студентов, выскочивших благодаря революции в главари огромного государства — революция действительно произошла, а что ж для рабочих? Для рабочих ее не было. При всяком режиме рабочих вынужден работать. Вы ничего не могли им предложить другого. Класс, который сделал революцию, сделал ее не для себя, а для вас. И до сих пор никто не предложил ничего иного, никто не знает, как отменить само понятие "работа", покуситься на основу, вот тогда будет настоящая революция, когда понятие "работа", имеется в виду работа для денег, чтобы жить, исчезнет".

По странному совпадению, троцкисты принесут мне эту книгу прямо на демонстрацию против "Нью-Йорк Таймс", которую некоторые из них наблюдали в течение продолжительного времени, даже помогая нам раздавать листовки.

Тогда после митинга Кэрл позвала нас к себе, она живет в Бруклине, в этом же доме живут еще человек шесть-восемь членов ее партии — дом как бы партийная ячейка. Ехали мы в соборе, потом шли пешком. Валентин, отстав от всей компании, подозрительный и помешанный на фрейдизме Валентин, говорил мне шепотом: "Слушай, почему они все такие ущербные, ты не находишь? Погляди, какие девицы — что-то в них не то. Кэрл-то сама нормальная, но и то мне кажется у нее не в порядке с сексом".

Кэрол пошла проводить нас до собвея. На улице было очень холодно, внезапно очень похолодало. Мы дошли до входа в собвей, она стала с нами прощаться, но я сказал ей: Кэрол — извини, мне нужно сказать тебе пару слов наедине. — Извини, Валентин, — сказал я Валентину, — одна минута.

— Ничего страшного, — сказал Валентин.

Мы отошли. Я, взяв ее за руки, сказал ей: — Хочешь Кэрол — я останусь с тобой?

Она обняла меня и сказала — ты такой хороший, но, может быть, твой друг хочет с тобой поговорить?

Я не совсем понял ее, мы стояли на холоде, я почти дрожал от холода, мы целовались и обнявшись стояли. Она была совсем тоненькая, всего — ничего, а ведь у нее дочери было 13 лет. Дочь жила с родителями в Иллинойсе.

— Ты очень хороший, — говорила негромко Кэрол, — Я позвоню тебе завтра, и мы увидимся.

Я очень замерз и устал и не настаивал. Может быть, нужно было настаивать. Но я замерз. Мы опять обнялись и поцеловались, и она пошла. "Иди, — сказал я ей, — замерзнешь"...

Назавтра она не позвонила, я прождал ее звонка часов до двух. А я уже за утро и вчерашний вечер приучил себя к мысли, что она будет моей любимой, придумал даже, как я буду ее одевать — и на тебе. Я не любил, когда у меня что-то срывалось. Я очень расстроился и успокоился в тот день не сразу.

Объявилась она через несколько дней. Извинилась. В воскресенье она сразу с утра отправилась в аэропорт и полетела в Иллинойс. Она не хотела меня будить. "Ведь ты очень поздно лег вчера", — сказала она. Мы договорились пойти вместе на ланч. Встретились.

Мы сидели друг против друга и говорили о наших делах. Тогда мы задумывали с Валентином демонстрацию, и я ей говорил о нашем замысле. Вдруг она сказала: — Знаешь, я хочу тебе сказать, что у меня есть друг. Мне очень неудобно перед тобой, ты мне нравишься, ты хороший, но у меня уже несколько лет есть друг. Он не член нашей партии, но он левый и работает в одном левом издательстве.

На моем лице не отразилось ничего. Я так уже привык к ударам судьбы, что это был даже не удар. Ничего, переморгаем, думал я, хотя неприятно, когда твои мечты разлетаются в прах. В мыслях мы уже жили вместе, и у нас была общая партийная работа.

— Хорошо, — только и ответил я. Роман мой с ней на том закончился, но отношения партийные продолжались и продолжают по сей день, хотя в троцкистах как в действующей партии я разочаровался.

В тот день после ланча мы шли по Пятой авеню, направляясь на Мэдисон, она должна была купить кофе для офиса. Против Сен-Патрика я спросил ее:

— Как ты думаешь, Кэрол, при нашей жизни, в Америке будет революция?

— Обязательно будет, — сказала не задумываясь Кэрол, — иначе зачем бы я работала в партии.

— Пострелять мне хочется, Кэрол, — сказал я ей тогда. И я не кривил душой.

— Постреляешь, Эдвард, — сказала она, усмехнувшись.

Вы думаете, мы были два кровожадных злодея, которые мечтали увидеть в крови Америку и весь мир. Ничего подобного. Мы были — я сын офицера-коммуниста, отец мой прослужил всю жизнь в войсках НКВД, да-да, тех самых, и она — дочь протестанта-пуританина из Иллинойса.

— Ты экстремист, — говорила мне Кэрол, — если у меня появятся когда-либо знакомые среди экстремистов, я тебя познакомлю. Ты им больше подходишь.

"Социал Воркерс партия" занимала по отношению к нам с Валентином очень подозрительную позицию. Валентин, сам очень подозрительный человек, говорил мне: "Они считают нас с тобой агентами КГБ. Им кто-то из товарищей диссидентов под-

бросил эту идейку. Кэрол, конечно, так не считает, она к тебе прекрасно относится, но руководство, те считают наверняка. Иначе почему они не напечатали информацию о нашей демонстрации против "Нью-Йорк Таймс" — почему? Ведь они специально присутствовали на ней два часа!"

Я думаю, в данном случае Валентин прав. Они ничего не напечатали о нашем существовании, хотя по сути дела мы для них были заманчивым материалом. В противовес обычно очень правым русским, вдруг левая ячейка, вдруг "Открытое письмо Сахарову", критикующее его за идеализацию Запада. Пересказ письма напечатала даже лондонская "Таймс" — троцкисты оказались правее или подозрительнее вполне официальной буржуазной газеты.

Я не верю в будущее этой партии. Они очень изолированы, они боятся улиц, боятся окраин, они на мой взгляд не имеют общего языка с теми, кого защищают и от имени кого говорят.

Я все продолжаю искать, мне хочется живого дела, а не канцелярщины и сбора денег в корзинку с объявлением суммы — кто больше. Я хочу не сидения на собраниях, а потом все расходится по домам и утром спокойно идти на службу. Я хочу не расходиться. Мои интересы лежат где-то в области полурелигиозных, коммунистических коммун и сект, вооруженных семей и полевозделывающих групп. Пока это не очень ясно, и только вырисовывается, но ничего — всему свое время. Я хочу жить вместе с Крисом, и чтоб там была и Кэрол, и другие тоже — все вместе. И я хочу, чтоб равные и свободные люди, живущие со мной рядом, любили меня и ласкали меня, и не был бы я так жутко одинок — одинокое животное. Если я не погибну до этого каким-то образом, мало ли что бывает в этом мире — я обязательно буду счастливым.

Встречи с Кэрол полезны мне — я узнаю от нее многое об Америке, узнает и она от меня многое. Мы друзья, хотя, например, срок своей поездки в СССР она от меня скрывает, боялась, очевидно, вдруг я и вправду агент КГБ. Сказала только после того, как приехала оттуда, подарив на память советскую шоколадку и монетку достоинством в 20 копеек. "Дура! — подумал я. — Ведь я мог дать тебе адреса, и ты познакомилась бы с такими людьми, которых просто так тебе не встретить никогда, хоть ты сто раз поезжай в СССР". Но я не обижаюсь.

Кэрол — это незакрытая страница, у нас постоянно появляются новые общие идеи, она часто ждет меня возле своего офиса — белокурая, улыбающаяся в затемненных очках или без них, всегда отягощенная партийной литературой — двумя-тремя сумками.

— Кэрол, тебе не хватает только кожаной куртки и красной косынки — на стоящая комиссарша, — подсмеиваюсь я над ней.

Собрание в защиту сидящего в советском лагере Мустафы Джемилева организовала троцкистская "Социал Воркерс партия" и в частности моя подруга Кэрол. Собрание было очень разношерстным по составу. Были там и представители ирландских сепаратистов, был иранский поэт Реза Барахени — бывший политический заключенный, был Павел Литвинов, неизвестно как решившийся на такой смелый для него шаг — выступить на собрании, устраиваемом левыми, я думаю, это он и его приятели приложили руку к тому, что меня и Валентина считают кагэбэшными агентами, был Мартин Состр — человек, отсидевший восемь лет в американской тюрьме за политическое преступление. Я чуть не выл от восторга, когда черный парень Мартин Состр вышел и сказал буквально следующее: "Я, конечно, присоединяюсь к защите Мустафы Джемилева и вообще я выступаю в защиту наций на самоопределение, в том числе, конечно, и крымских татар, но я не понимаю, почему, когда Сахаров присылает в "Нью-Йорк Таймс" статью, в которой пишет о несправедливостях и притеснениях, ущемлениях свободы личности в СССР — "Нью-Йорк Таймс" печатает его статьи едва ли не на первой полосе, но подобные статьи об ущемлении прав человека и несправедливостях здесь в Америке — "Нью-Йорк Таймс" печатать отказывается".

Я наблюдал за Литвиновым, того всего скособочило от ужаса. Вот попал, бедняга, наверное не ожидал. Что ему скажут его хозяева, которые дали ему работу, которые кормили и поили его здесь, оплачивали ему учителей английского, что скажут американские правые, которые давали и дают ему деньги. Удачно сидел в тюрьме или психбольнице там — получай деньги здесь. Но что они скажут — американские правые — Литвинову, узнав, что он участвовал в таком митинге ?

Кэрл стоило огромного труда уговорить Литвинова придти и выступить. Она занималась этим долго. Сейчас моя подруга, ведущая митинг, заливалась соловьем, объявляя выступающих ораторов и вкратце рассказывая о каждом. Она была довольна.

Сейчас Кэрл звонит мне часто.

— Здравствуй, Эдвард, — говорит Кэрл по телефону, — это я, Кэрл.

— Хай Кэрл ! Рад тебя слышать, — отвечаю я.

— Мы сегодня имеем собрание, — говорит Кэрл, — ты хочешь пойти ?

— Конечно, Кэрл, — отвечаю я, — ты же знаешь, как мне все интересно.

— Тогда встретимся в шесть часов у собвзя на Лексингтон и 51-ая улица, — говорит она.

— Да, Кэрл, в шесть часов, — говорю я.

Мы встречаемся в шесть, целуемся, я беру у нее одну сумку, больше она не разрешает, и мы спускаемся в собвей.

.....
Иногда, в ланчевое время, вы можете застать нас на 53-й улице, между Мэдисон и Пятой авеню, сидящими у водопада.

ТАМ, ГДЕ ОНА ДЕЛАЛА ЛЮБОВЬ

Я попал туда без него, без Жана-Пьера. Попал так просто, как не мечтал попасть. В своем воображении я некогда представлял, как я вбегаю, ударом ноги растворив двери, бледный, вытянув перед собой револьвер и кричу " Сука ! ", а они лежат в кровати и я стреляю в них и кровь проступает сквозь одеяло. Ничего особенного, видения обманутого мужа, того, кому наставили рога. Нормальные видения, да ? А вошел я туда, в мастерскую Жана-Пьера спокойно, через открытую дверь, без револьвера, и действующие лица были другие.

Это болезненное место для меня, отсюда все началось, здесь Елена впервые изменила мне, здесь впервые чужой хуй сломал " Я все могу ! ". Против нелюбви и хаоса я был бессилен. И страшно было испытать бессилие даже один раз.

Это было во времена Сони. Опять замешан Кирилл. Он живет в разных местах Нью-Йорка, то здесь, то там, как придется, своей квартиры у молодого бездельника нет. Жан Пьер, уехавший на месяц в Париж, за какие-то заслуги оставил Кирилла пожить в его мастерской, то ли за деньги, то ли просто так, без денег, не знаю. Я испытываю к молодому негодяю какое-то подобие любви, может быть, отцовской. Нас разделяют восемь или девять лет.

Я прокричал, как обещал, снизу, задрав голову вверх " Кирилл, Кирилл, еб твою мать ! " и Кирилл выставил свою заросшую голову из окна. Потом этот аристократ спустился вниз и открыл мне дверь, ибо без помощи хозяина в этот дом не попадешь. Мы поднялись в лифте и попали в студию не совсем так, как я себе представлял в своих бесплодных попытках проникнуть туда. Та дверь, которую я в бессилии и со слезами пытался открыть с лестницы, вела в общий для двух мастерских коридор возле лифта, а вовсе не сразу в мастерскую Жан-Пьера как я думал. Это повергло меня в уныние.

Я вошел в большое выбеленное помещение. Слева ветерок вздувал легкие шторы на нескольких окнах. И именно там стояло это страшное для меня ложе, площадь для любви, место моих мук, тут она делала любовь. Я подошел, стараясь разглядеть свой труп...

Справа от двери была кухня и по американскому обычаю неотгороженный от нее как бы зал — у стены диван, круглый стол и кресла. Все окружалось несколькими колоннами.

Я подошел к колоннам и с учащенным сердцебиением стал внимательно рассматривать их. Где-то тут должны были быть следы от веревок, которыми она привязывала мутноглазого владельца, била его, а потом выебла резиновым хуем в анальное отверстие. Дурочка, начинающая потаскушка, она сама мне все это рассказывала, похваляясь, когда я еще был ее мужем. Как же, ей нужно было поделиться. Тогда у нее появилась маска с перьями и какими-то стекляшками, нашитыми на нее, черная, она почти закрывала все ее маленькое личико. И тогда же появился ошейник со множеством блестящих кнопок. Я померил его на свою шею, он едва сходил, хотя у меня шея 14,5. Значит, она надевала ошейник на себя, для пущего шика. Она хвалилась, что у нее есть и хлыст, но его и резиновый хуй она не хранила дома. Ей очень хотелось быть на уровне тех сексуальных фильмов, которые она видела. Она ведь жила по-настоящему, глупая долговязая девочка с Фрунзенской набережной в Москве. Москвичка. Однако сколько удовольствия она, наверное, доставляет теперешним своим любовникам. Старается. Провинциальное желание превзойти всех. Стать самой-самой. Впрочем, я такой же.

Да, вот следы явно натертые веревкой или, может, цепью, нет, веревкой точно. Кто-то мягко, но сильно сдвинул мое сердце. Я увидел их, голых, возящихся у колонны, так мы с ней когда-то пристраивали корзинку на веревках к потолку и вынимали из нее дно, а я ложился под нее, вставлял хуй в ее пипку, закрученные веревки раскручивались, и, по мысли, она должна была вертеться вокруг моего члена. Она тогда загадочно хихикала. Впрочем, у нас мало что получилось, нужен был точный расчет, после этого мы ломали свою кровать обычными способами. С ней мне не очень-то и нужны были всякие ухищрения, она возбуждала меня до крайности, и сейчас когда я прихожу изредка к ней, теперь только моей подруге, у меня от одного ее голоса встает хуй. Ужасно.

Колонны навели меня на грустные и изуверские воспоминания о следах спермы на ее трусиках, которые я все чаще и чаще обнаруживал в последние месяцы нашей совместной жизни. Сперма была и на колготках. Однажды вся внутренность ее черных брюк оказалась залитой спермой, белой к утру, засохшей, такой отвратительной, что уже не было сомнений, и тогда я впервые устроил ей скандал. Тогда кончились мои счастливые дни, мое безграничное счастье, которое я испытывал четыре с половиной года со дня знакомства с ней.

При упоминании о моих счастливых днях, о любви, о свадьбе нашей, меня всего передергивает. Мне противно и стыдно, что я был так глуп, что я любил, верил, а меня выблеи, вымазали в чужой сперме, скрутили резинкой от трусов, измазали мое стройное и нежное тело пошлостью.

Я дико кривлюсь, вспоминая сосны во дворе ее дачи и ее в прозрачном ангельском платице, девочку с выступающим передним неровным зубом. Белочка, глупышка, сучка, вспоминаю ее вспухшие половые губы, когда я прилетел в беспамятстве из Калифорнии, пытаясь все спасти. Прилетел я вечером, она явилась утром и сидела в ванной, иссеченная кожа на спине, мелко иссеченная — чем, хлыстом? и эти розоватые половые губы.

Мне достаточно было тогда погрузить ее голову в воду, она и не подозревала, как тогда она была близка от гибели. Я уговаривал ее вернуться, жить, хотя бы год, пол-года... Она сидела в ванной и самозабвенно рассуждала о том, что я не умею наслаждаться. У нее совершенно не было вкуса, она неспособна была понять, что я почти мертвец и по меньшей мере неблагородно хвалиться сейчас передо мной своим умением

легко отыскать партнера для... Она рассуждала, а я сидел на полу ванной и тупо смотрел на ее вспухшую пипку. Это нам знакомо, значит, ебалась, ебалась всю ночь... Хорошо, но меня-то почему не, я почему... Я-то надеялся, думал — блядами, авантюристами, проститутками, кем угодно — но вместе через всю жизнь.

Нет, я не вспоминаю мои счастливые дни, ни хуя не вспоминаю, а как вспомню, то рвать тянет, вроде обожрался или что-то иное, желудочное.

Тем временем я оказался возле его полок с его книгами. Его книги... О, тут есть все, и подобрано любовно, по сериям, есть Лотреамон, Андре Жид, Рембо — знакомые великие имена — все на родном французском языке. Приблизительно так в домах русских интеллигентов можно найти всю серию "Библиотека Поэта" или "Всемирная литература".

Я никогда не собирал книг по сериям. У меня были отдельные любимые книги, но в моей жизни было так много переездов с квартиры на квартиру, из города в город, из страны в страну, я так часто делил книги, единственную ценность со своими женами, что сейчас я недобро поглядываю на оставшиеся у меня может быть три десятка томиков и думаю, а не вышвырнуть ли и эти? Жан-Пьер интеллигентный человек. Переводя на русские нормы, обыкновенная библиотека среднего интеллигента.

У кровати и в туалете — рисунки карандашом — облизывающая язычком чей-то хуй, не видно чей, девочка, похожая на мою жену, что, конечно же, не доставляет мне особого удовольствия, я передергиваю плечами, от этого обычного движения тоска уходит, приходит злорадия, попробуйте.

Другие рисунки: два половых органа — мужской и женский — в выжидательной позиции. Женщина, раскрыв пальчиками пизду, осторожно садится кому-то на хуй. Кое-что понимая в живописи, и особенно в современной, и в таких рисуночках тоже, могу сказать, что рисунки француза дилетантские — слишком старательные, совсем нет линий. Куда лучше подобные рисунки в общественных туалетах. Там безымянные художники легко и быстро, движимые подсознательным, подчиняясь законам папаши Фрейда, добиваются выразительности путем преувеличения, гиперболизации и упрощения. Здесь — детали, но от этого рисунки куда похуже, пахнут интеллигентскими кальсонами, есть в них что-то старческое, пахнут спермой — это явно, и явно той спермой, которая была на трусиках моей жены.

Я солдат разбитого полка. Войска уже прошли, пусто поле битвы, а я явился осматривать его. Я брожу в кустах, подымаюсь на высотки и стараюсь определить причину поражения. Почему же все-таки нас разбили?

Да, после нашей жуткой и нишей квартирки на Лексингтон эта мастерская — сказочный дворец. Овеянная романтикой мастерская в Вилледже на Спринг-стрит. Я ненавижу теперь это слово — весна, весенняя улица. Она звонила мне из пространства в 11 часов, я, сидя в той же лексингтоновской убогости, от письменного стола говорил "Мусенька, когда же ты придешь, я волнуюсь" — "Я еще снимаюсь", — говорила она, и оттуда доносилась музыка.

Теперь-то я знаю, где стоит музыкальная установка у Жан-Пьера и где находится телефонный аппарат — один, и другой, и третий.

Любительница роскошной жизни, которой она никогда по-настоящему не видела, позтесса, девочка с Фрунзенской набережной в Москве, после года слез и неудач, скитаний по Австрии, Италии и Америке, по роскошным столицам, где мы питались картошкой и луком, а душ могли принимать раз неделю (она так много плакала в этот год), Елена конечно отдыхала здесь.

Я нашел в ее тетради стихи (ее стихи всегда ярче обрисовывали мне ее состояние, чем она могла подумать) "И от улиц веселых запахи..." я уж сейчас не помню, но что-то о романтике улиц и кабачков Вилледжа, о человеке с бородой (Жан-Пьер) и сексуальное чувство к нему сравнивалось с отношением девочки-подростка к доктору, с детством.

Все правильно, она имела право на отдых, на то, чтобы лечь на этой его кровати, расслабиться, ни о чем не думать и смотреть на колыхающиеся занавески... Ебет, это грубо так говорить даже по отношению к любовнику бывшей жены, нет, он ласкал ее, она могла, пока не окрепла и не обнаглела, спрятаться здесь от квартирки на Лексингтон и от меня, который был для нее частью мира нищеты и слез. Увы ! Я верю в то, что она была здесь счастлива. Я умный и знаю — то, что сравнивается с детством, не может быть ложью.

Он был для нее доктор из детства, и она не стыдась потянулась к нему, бородастый и полуседой, он казался ей защитой. Как говорится, "в его ласковые ладони". Она принимала его в себя и разделяла с ним эти содрогания, которые раньше принадлежали только мне.

Я ? Полноте, но она считала себя куда выше меня. Она не допускала мысли, что я и талантливее и крупнее личностью, чем она. Она считала себя вправе поступить по собственному произволу. Она догадывалась, что я искренне люблю ее, знала, что мне будет невыносимо, что, может быть, я покончу с собой, это она тоже знала, такая возможность была, но что я был для нее ?

Смешной украинский человечек, дурацкий Эдичка, назойливо любящий ее. Я думаю, даже в моей любви к ней она видела мою слабость и презирала меня за это. Давно, еще в Москве, я, помню, должен был ехать в Иваново и никак не мог от нее оторваться, все медлил уходить. Как она тогда кричала !

Меня она уже считала неспособным подняться здесь, в Америке. Помню, как она злобно кричала мне в первое посещение нами ее будущей любовницы-лесбиянки Сюзанны, когда я осторожно заметил ей, что Сюзанна и ее приятели неинтересны : " А я хочу наслаждений ! Пусть с ними ! Через них появятся другие. А ты со своим аристократизмом так и будешь сидеть и сидишь на Лексингтон в грязной квартирке ! И сложишь там ! "

Я все запомнил, у меня отвратительно четкая память и сейчас, брезгливо трогая концом зонтика одеяло Жан-Пьера и заглядывая под его кровать в надежде что-нибудь интересное усмотреть, я вспоминаю ее в последние наши дни.

— Прости, — ответил я ей тогда, — но ты свободна за мой счет, ты завела любовника потому, что я заслонил тебя от необходимости работать. Я пошел работать в эту газету прежде всего ради тебя, и чтоб мы, ты и я, могли выжить. А ты...

— Да, — сказала она с истеричным вызовом, — ну и что, что я свободна потому, что ты не свободен. Ну и что ? Так и должно быть...

Тогда я готов был пристрелить ее. Если бы я имел возможность тогда купить револьвер, никогда бы мне не видеть мастерской Жан-Пьера, не ходить по опустевшему полю боя. Но у меня почти не было знакомых и не было денег, и не было сил.

Она со мной не церемонилась, и только потому что считала меня уже ни на что неспособным. Она создала схему своей жизни, в которой я был только этапом, она считала, раз она прошла и оставила Виктора, ее бывшего мужа, позади, потому что выросла из него, то со мной будет то же самое. Тут она ошиблась, создавать схемы всегда опасно.

Когда она немного отошла и освоилась, она стала глядеть не только на Жана, но и по сторонам. По моим подсчетам, это произошло уже через несколько месяцев. С ним же она стала придумывать кое-что — хлысты, привязывания, инициатором конечно была она. Любопытно ей было. В свое время я тоже ее кое-чему научил, не просто ебле с помощью голого хуя. Для нее это тогда было открытием — и ремешком по пипке стегал, э... всякое было, у нас даже был полусхитливый опыт групповой любви. Ну, с ним она захотела пойти дальше. Пошла.

Она лежала на этой кровати, отдыхая после акта, и курила. Она любит курить в промежутках. Иногда она замолкает и смотрит куда-то в пустоту, в неизвестность. Это у

нее есть. Я всегда спрашивал ее "Масенька, о чем ты думаешь, где ты?" — "А?" — говорила она очнувшись. Спрашивал ли он ее, о чем она думает? У нее становились рассеянными-стеклянными ее глаза.

Ей, наверное, все мы кажемся одинаковыми — я, Виктор, Жан-Пьер, еще кто-то. Делает ли она различие между мной, человеком, имевшим с ней любовь четыре с лишним года, любящим ее, и человеком выебавшим ее один раз по пьянке. Не знаю. Наверное делает и, я думаю, в худшую для меня сторону.

Моя обида. Это грустная обида одного животного на другое.

Итак, она была права. Но Эдичка как же, любивший ее, ведь он с тончайшими чувствами, с болезненной реакцией на мир, он, перерезавший себе три раза вены от восторга перед этим миром, он, пылкий и сумасшедший, обвенчанный с ней в церкви, выравший ее у мира, искавший ее столько лет и до сих пор убежденный, что это была она, да, она, его единственная, единственно только нужная, как же с ним, с Эдичкой, быть? Написавший о ней стихи и поэмы, никогда ею не понятый Эдичка, что он? Куда он девается в этой истории?

Елена, с ней ясно, она уходила из лексингтоновской трагедии, убегала, удирила не оглядываясь, но как же Эдичка, свободная женщина, ведь вы же всегда были заодно?

"И женщина, и мужчина имеют право на убийство", — гласит глава первая никогда не написанного кодекса отношений мужчины и женщины.

Потом ей надоел и Жан-Пьер, хотя она не сразу его бросила, они еще жили втроем — он, она и Сюзанна. Америка плохо на нее влияла. Она насмотрелась всяких "Флосси", "История оф О", "История Джоанны" и прочей пошлости. Эти сладкие сексуальные сиропы с седыми, красивыми и богатыми людьми, не знающими, куда пристроить свой хуй, эти замки и спальни, эта кино-красота и чепуха — вот на чем она сошла с ума. Она воспринимала фильмы всерьез. И она энергично старалась быть похожей на сексуальных киногероинь. Я думаю, девочка — модель из "История оф О" была для нее примером, она много раз восхищалась этим фильмом.

Елена участвовала в сексуальных парти, где кто кого хотел, тот того и ебал. В той среде фотографов и моделей, куда она попала, найти партнеров для всякого рода экспериментов нетрудно. Она имела любовниц и долгое время ее ебл Сюзанна — фригидная женщина, которая получает удовольствие только от чужого оргазма.

Лена... Елена... Где та заплаканная Лена, с черным от грязи февральской московской оттепели белым пуделем, которая явилась когда-то жить ко мне, уйдя от Вити — 47-летнего мужа. Явилась ко мне, у которого не было, где жить, на что жить, но которого она очевидно любила. Как случился переход от той Лены, от венчальных свечей до резинового хуя, которым она выебла Жана и которым он очевидно не раз ебал ее.

Венчальные витые православные свечи... Я отдал ей их. Бросил в ее чемодан. Отдал ей иконы, подаренные на свадьбу. Мне не хочется видеть старые глупые осмеянные вещи. Я отдал ей ее ошейник, который как-то украл. Чему я пытался помешать, отняв у нее ошейник. Маску, я каюсь, я давно разорвал. Вместе с его картинами.

Я очень люблю ее, понимая ее провинциальность, видя, что она восприняла здесь в Америке самое худшее — марихуану, блатной жаргон, кокаин, постоянное "факен — мазер" после каждого слова, кабаки и сексуальные принадлежности. Я все же очень люблю ее — она типично русская девочка, очертя голову бросающаяся в самое пекло жизни без рассуждений, я сам такой, я люблю ее храбрость, но не люблю ее глупости. Я простил ей измену Эдичке, но не прощу ей измены герою. "Блядьми, проститутками, авантюристами, но вместе могли быть", — шепчу я.

Все это я думаю, передвигаясь по мастерской Жан-Пьера, заглядывая в его ящики и на полки. А что мне остается, я понимаю, что это нехорошо, но разве я делаю только хорошее. Любопытство мое все от этого зловещего "Почему?"

Кухня. Сотни коробочек с пряностями всех сортов и оттенков, с чаем, кореньями, перцем, тем и этим. Все нужные кухонные электроприборы. Все... Они люди... а я что... я голь перекатная. К моим 30 у меня ничего нет, и не будет. Но я этого и не искал. Сколько лет он живет на этой улице. Десять лет ? Двенадцать ? А я только на одной квартире в Москве жил больше года.

Боже мой ! Как противно прошлое и как его много. У меня его особенно много — а вот вещей не скопил. И впереди вещей не предвидится. Будут ли у меня все эти коробочки, наклейки, этикетки... Уверен, никогда. Я скапливаю нематериальное...

В сущности, я был здесь, в Америке ей неинтересен. Недаром же она мне сказала тогда 13 февраля, у меня отвратительная память, когда я лежал и хотел умереть от голода, так хотел умереть, сказала мне по телефону жуткое слово " Ты — ничтожество ".

Я с грустью покачиваю в руке банку с кофе. " Ничтожество " — а я-то думал — герой. Почему " ничтожество " ? Потому что не стал седым и богатым похотливцем — владельцем замка — в точности таким, какие они в сексуальных фильмах. Нужно было стать в полгода — она торопилась, а я не стал. Я грустно улыбаюсь.

Увы ! Не смог. К сожалению моя профессия — герой. Я всегда мыслил себя как героя, и я от нее этого не скрывал никогда. Даже книгу с таким названием еще в Москве написал " Мы — национальный герой ".

А ничтожество я потому, что не имею даже такой мастерской, как у Жан-Пьера, всех этих баночек и коробочек, не рисую такие бухгалтерские картины. Ее логика не интересовала, она не думала, что Жан-Пьер живет здесь всю жизнь, а я вчера приехал. Она себя логикой не утруждала.

Кто я был здесь ? Только журналист, сейчас имеющий среди русских эмигрантов Европы и Америки скандальную репутацию левого и красного. Кого это ебет. Кому нужны эти русские дела здесь, в Америке, когда здесь ходят живые Дали и Уорхолы. И кого интересует, что я один из крупнейших ныне живущих русских поэтов, что я, корчась и мучаясь, проживаю свою героическую судьбу. Здесь стада богатых людей, кабаки на каждом углу, а литература низведена до уровня профессорской забавы. Как же, хуя, поехал я в ваш Арлингтон или Беннингтон, или как там его, учить ваших жлобских детей русскому языку. Не затем меня не могли купить там в СССР, чтоб я продался по дешевке здесь. И заметьте — членство в Союзе Советских Писателей куда большая цена, чем профессорство даже в вашем университете.

" Ничтожество " медленно переходит от предмета к предмету. Оно уже выпило много банок пива, выкурило совместно с Кириллом пару " джойнтов " и потому все чернеет в его мире, темнеет, резким становится и крайним. Кирилл ушел в телефонные разговоры. Его мир куда светлее и чище моего. Он по-детски хочет роллс-ройс и денег, но ничего не может для этого сделать. Ребенок. В его случае это даже не трагично, ну, подумаешь, его сон разлетится вдребезги. Он молодой, придумает новый, это не опасно. Когда речь заходит о моих " левых " взглядах, Кирилл, как щенок, лает и защищает эту систему. Он считает себя обязанным это делать, потому что думает, будто он принадлежит к тем, кто ебет в этом мире всех и мир, а не к тем, кого ебут.

Я проскальзываю в кабинет Жан-Пьера. Два стола, поставленные один к одному, как в офисе или в советском учреждении. Некоторые ящики заперты, другие нет. Если бы не присутствовал Кирилл и было часа два-три впереди, я бы открыл запертые, в них наверняка находится самое интересное, увы, приходится довольствоваться открытыми.

Я неспеша перебираю вещи, неспеша, но не спокойно. Какое уж там спокойствие... Письма из Парижа от девушки или женщины с чешской или польской фамилией, эти письма во множестве нахожу я в разных ящиках стола... а вот кое-что поинтереснее — конвертик с волосами, блондинистые волосики явно с лобка и наверняка это волосики моей Елены. Появление конвертика с волосиками вызывает у меня холодный пот по всему телу — признак наибольшего волнения. Может быть, успокоительно то, что она не

живет и с ним. Впрочем, он кажется не хочет. Так мне говорили, не знаю.

Ничего более интересного, чем конвертики, в ящиках нет. Блокноты, тетради, запасы ластиков, слайды с его работ в очень большом количестве. Я терпеливо пересматриваю все его слайды в надежде увидеть ее фотографии. Тайный голосочек шепчет — "в непристойных позах" — каких уж там непристойных! Просто хочу знать больше, чем знаю и может быть сразить "Почему?" Но только его слайды, слайды с его работ. Опять письма, визитные карточки каких-то людей и организаций, все это разбавлено огромным количеством финансовых документов, огромным потоком банковских счетов, всяких, я не различаю их.

Я открываю какую-то коробочку — там лежат темные зерна и крупинки, а сверху две жирные сделанные по-хозяйски сигареты марихуаны, не то что жидкие на продажу джойнты, которые можно купить на 42-й или на Вашингтон сквер по доллару штука.

Потом я лезу на полки, где аккуратно переложенные бумажками лежат его литографии. Они меня не интересуют. Я ищу другое. Наконец я вижу то, что искал — ее фотографии. Большого формата, не пожалела, подарила милому дружку. Не мне — ему. Фотографии, сделанные малоизвестными фотографами, они представляют из себя подражание работам известных мастеров фотографии — вернее, их формальному выполнению. Это, конечно, не Аведон и не Франческа Скавола и не Горовец и не... Подражательные фотографии. Елена, вымазанная чем-то блестящим, с залезанными волосами, Елена в сверхневероятной, неестественной позе, Еееена с лицом, размазанным под индийскую маску...

Увы, все это довольно беспомощно. В сущности, фотографии все бледские и нехорошие. Мало что получается у моей душеньки с ее карьерой. А ведь говорила гордая о карьере. "Я никого не люблю, меня интересует только карьера".

Я смотрю на фотографии теперь чужого мне женского тела и вижу перед собой всю эту систему. Модная профессия фотографа. Знаю я, как здесь фотографы десятилетиями вкалывают, выбиваясь в люди. Мой друг Ленька Лубеницкий, фотография которого недавно была на обложке "Нью-Йорк Таймс Мэгэзин", кричит, приходя в мою конуру вечером. Плохие времена, ничего невозможно заработать.

Тысячи фотографов работают в Нью-Йорке. Десятки тысяч людей занимаются фотографией. Все они мечтают о славе и деньгах Аведона или Юджина Смита, но мало кто знает, как адски работает Аведон. Ленька Лубеницкий знает, он больше года работал ассистентом у Аведона за 75 долларов в неделю. Манекенщицы все мечтают о карьере Верушки или Твигги. Десятки тысяч девушек каждый день с утра являются в свои агентства, а потом в такси и пешком отправляются по адресам, стучатся в двери фотостудий. Одна из них Елена. Шансов у нее мало.

Я переворачиваю лист за листом. Фотографы, как мячиком, играют телом девочки с Фрунзенской набережной, мелькают ее маленькие соски, плечи, попка, я вспоминаю — была у нее одна фотография — осталась в Москве. Елене четыре или пять лет. Она стоит с матерью и скорчив гримаску смотрит в сторону. Там, на той фотографии уже все есть. Она всю жизнь смотрит в сторону.

Я ищу ответ, мне нужно убить "Почему", убить пониманием, иначе оно убьет меня, может убить, и потому я до боли вглядываюсь в эти фотографии. Может быть, там есть часть ответа. Но там — ложь. Ложь бездарности, какой-то третьестепенности, правдива в них только прущая из глубины, сквозь глянец прорывающаяся жажда жить, ценой любой ошибки, все что угодно принять за жизнь, что-то движущееся, и жить, лежать под кем-то, фотографироваться, ехать на чужой лошади, любить чужой дом, чужую мастерскую, чужие предметы и книги, но жить.

А я не был жизнь в ее понимании, нисколько. Я не двигался, во мне не были ей заметны признаки движения. Я был недвижущимся, по ее мнению, предметом. Она считала, что убогая квартирка на Лексингтон — это я. Она хотела жить. И первое, что она

понимала — это жизнь физическая, материальная. Ей было наплевать на все ценности цивилизации, истории, религии, морали, она была с ними мало знакома. Инстинкт, я думаю, она это понимала. Поэтесса, к тому же слишком сильное воображение.

Позднее она чуть отрезвеет, мастерская Жан-Пьера уже не будет ей казаться сказочным дворцом, а он добрым доктором из детства. Позднее он потребует у нее 100 долларов, взятые для поездки в Милан. Это нормально, ведь они уже не спят вместе — значит, отдавай долг.

Копаясь в его бумагах, вижу аккуратные столбики цифр. Сбоку приписано, на какие цели истрачены деньги. Жаль, что неразборчив для меня его почерк, возможно, встретил бы я там и Еленино имя. Он несколько раз жаловался Кириллу, что Елена его обдирает, что она ему дорого обходится.

Я верчу его списочки в руках. Это непривычно мне, я не осуждаю, но непривычно. " Сам их способ хранить заработанные деньги в банке вырабатывает в них отрицательные с точки зрения русского человека, а тем более такого типичного представителя богемы, как я, качества — расчетливость, педантическую аккуратность денежную, отдельность от других людей..." — так думаю я, продолжая перекапывать его бумаги.

Я привык к другим американцам — дипломатам и бизнесменам в СССР — широко и порой беспорядочно сорящим валютой, веселым и дружеским — у каждого из нас был в Москве свой знакомый американец, не все были широкими, но многие были такими. Может быть, потому, что в Москве доллар реально стоил очень дорого. Колониальная и зависимая Россия...

Для меня Жан-Пьер неинтересен, разновидность обывателя, только и всего. В России Елена все же не шла к подобным пошлякам, а выбрала Лимонова. Или она не узнала их в американском обличьи, решила, что это другие люди — выше и интереснее? Не знаю. " Почему? " тотчас бы исчезло, если б Елена ушла к американскому Лимонову. Но к этим?

Я выхожу из кабинета. Кирилл все звонит по телефону. Он твердо решил, что для полного счастья нам с ним не хватает сегодня бутылки водки, и он хочет этой бутылки от кого-то добиться.

Оторвавшись от телефона, Кирилл реквизирует еще пару банок пива из запаса Славы-Дэвида — он запасливый парень, и мы выпиваем их сразу же. Уже целый мешок пустых банок валяется в углу.

От смеси выпитого и увиденного я между тем медленно прихожу в восторг. По физическому своему распорядку весь этот день в точности повторяет множество других вторых дней после сильной пьянки, а таковая была у меня вчера. Сейчас этап " восторг! " Я требую поставить мою любимую сейчас пластинку битлзов " Назад в СССР! "

Пластинки этой у Жан-Пьера в коллекции нет, и Кирилл, не спрашивая меня ставит свои пластинки, которые лежат тут же в общей куче. Первым следует Вертинский.

Во мне просыпается свойственное всем поэтам чувство ритма. Это у нас в крови. Я начинаю приплясывать. Я выделяю ритмические фигуры. Кирилл, продолжая телефонные разговоры, не забывает менять пластинки, по своей прихоти, впрочем. Хор солдат Александра сменяют " Очи черные ", потом следуют революционные песни, и опять " Очи черные "...

Я начинаю испытывать чувства моего народа. Я прохожу в танце перед зеркалом, оно большое, может быть, они в него не раз смотрелись вместе и голые, но мысль, проскользив, исчезает. Ее изгоняет музыка. Я танцую какие-то безумные танцы, я вытанцовываюсь от зеркала к кухне, приближаюсь к телефонизирующему Кириллу и в замысловатых ритмических па обтанцовываю кругом " эти " колонны. Как у Элиота думаю я — " Обтанцуем кактус кругом, обтанцуем кактус кругом, обтанцуем кактус кругом, в пять часов утра ", — моя начитанность меня радует. Тут же я повторяю элиотовские

строчки по-украински.

Я пляшу и танцую, и улыбается Кирилл. Ох, этот Эдичка, этот крейзи Эдичка ! Я люблю Кирилла за то, что он ко мне не лезет с удивлением. Если я его и удивляю, то он делает вид, что так и надо и что он Кирилл, если сам не педераст, то во всяком случае свободный человек и все может понять. Даже если он только делает вид, и то хорошо.

Сейчас он прерывает разговор, и мы в ослепительном свете свете всех ламп Жан-Пьера танцуем под " Очи черные ". Наша коренная российская музыка, которая обошла все кабаки мира. Когда-то офицеры в мундирах, разудалое, плачущее пьяно, подобно мне, Эдичке, было в кабаках эту дикую вещь. Какая тоска и нарушающее тоску ликование в этих заунывных, но взвизгивающих вдруг азиатских звуках. Эх, да ведь меня ничто не связывает с человечеством кроме Вэлфэра, который я у них беру. И меня поедом жрет моя национальность — " Дайте мне родимые пулемет, ой дайте пулемет ! " — истерически визжу я на радость Кирилла.

Я, конечно, слегка выбываюсь. Но разве мне не хотелось обнимать ее труп. Разве я не писал предсмертные записки, а потом душил ее. Или это видения ? Нет, это было, не врут " Очи черные " и не вру я о себе.

Танцевальная свистопляска длится очень долго. Пластинки русские сменяются французскими. И я танцую под Брейля, Пиаф и Азнавура. Я танцую в самозабвении, и хотя мне кажется, что на меня смотрит весь мир, на второй день со мной всегда так к вечеру, на деле даже Кирилл ушел опять терзать телефонную трубку и что-то говорить по-английски, не понимая, что хотя он милый мальчик, но никому он и я на хуй не нужны в этот вечер и во все другие вечера.

Пляской на месте ее измены мне, пивом и марихуаной — вот как я отметил пять лет нашего знакомства. Как ручной член общества. Не поджег, не переломал все, не ревел, даже не заплакал.

Потом я остываю. Начинается этап " депрессия ", иду, валюсь на эту кровать носом в одеяло и некоторое время лежу так, принохиваясь к кровати. Может, пахнет ею ? Нет, пахнет Кириллом. Я переворачиваюсь на спину и лежу, глядя в потолок и не двигаясь, может быть, целые полчаса. Я думаю о нем, о себе, а по потолку бегают тени и колышется занавеска, и мир вступает в ночь, чтобы потом вступить в день.

Заставляет меня встать естественное желание сделать пи-пи. Я ухожу в туалет и там продолжаю думать, мыслить и прислушиваться к себе. Я разглядываю вновь эти жалкие рисунки, повешенные над самым унитазом. Я заглядываю в ящики и ящички — опять сотни наименований предметов, дробная мелкость его существования, окруженного таким количеством деталей, лезет мне в глаза и глаза болят, начинают болеть. Тут есть и вата, возможно, она ее употребляла, и то, что суют в пизду во время менструации — тампаксы. Запасливый месяц.

Первые годы нашей любви мы неизменно ебались, когда у нее была менструация, не могли вытерпеть эти четыре дня. Начинали вроде бы шутя, терлись друг о друга и целовались, и потом все-таки еблись, стараясь неглубоко, и когда мы кончали, а делали мы это почти всегда вместе, я вынимал свой член из нее весь в крови, и это было приятно и мне, и ей, и мы долго на него смотрели.

Я опять гляжу на раскрывающую пизду женщину, садящуюся на хуй. Я только что сделал пи-пи и вытираю салфеткой член. От прикосновения туалетной бумаги мой нежный член вздрагивает, что-то во мне начинает шевелиться, член медленно вырастает в хуй. Я почти бессознательно начинаю гладить головку своего хуя, мну его и поглаживаю, одновременно думаю, что они ебались и здесь, в ванной, ведь мы же с ней ебались во всех наших ваннах, и, значит, она ебалась с ним и здесь, и я двигаю по члену и начинаю настойчиво мастурбировать.

Милый ! Ничего я так и не добился. Я стоял и садился, возбуждение не уходило, но кончить я не мог. На второй день это мне всегда трудно, даже с женщиной. А мне так хотелось быть причастным к этому и к тому, что делали они здесь, и выплеснуть свою сперму туда, куда стекала и его сперма, в ванну или в унитаз, уже из нее, из ее пипки, разумеется, его сперма стекала туда.

Милый ! Прошло сорок минут, благо Кириллу кто-то позвонил, и он говорил с таким же любителем ночного трепа, с новыми силами, бодро и обрадованно. Может, у него что-то получалось. У меня с моим хуем не получалось ничего. Наконец я отчаялся, и спрятав хуй в брюки, задернул занавес над ним.

Желтый ад ванной комнаты я спрятал, погасив липкий свет, закрыл дверь и вышел к собутыльнику.

— Если бы ты был умным мальчиком, я бы сказал тебе, где лежат две сигареты марихуаны у Жан-Пьера в доме, — нахально заявил я.

— Эдичка, зачем вы лазите в чужие шкафы и столы ? — сказал он.

— Я имею право, — сказал я серьезно, — он ведь бывший любовник моей жены.

— Извините, Эдичка, — сказал он.

Мы стали торговаться из-за этой марихуаны и порешили, что каждому отойдет отдельная сигарета, хотя Кирилл настаивал на совместном раскуривании обеих, но я грозился, если он не согласится, вообще не показать, где лежат сигареты.

— Каждый что захочет, то и станет со своей сигаретой делать, — сказал я, — Хоть выброшь или в жопу засунь, — сказал я.

После этого мы поднялись в мастерскую.

Я пошел в кабинет и достал из коробки сигареты, и мы вернулись в кухню. Я дал ему причитающуюся ему сигарету, а свою я тотчас закурил. Она оказалась на удивление крепкой — я такой еще не пробовал. Когда я дососал ее, толстую и жирную, до конца, так что уже не держали ногти, я только и смог, что преодолеть с трудом путь в шесть-семь метров до дивана и свалиться в галлюцинациях.

Я слышал все, что происходило в мастерской и в то же время видел сны, причудливые, составленные из прошлого и никогда не бывшего. Какая-то бесноватая девушка пыталась открыть какую-то коробочку, в которой жило мыслящее существо. Растрепанная, она склонялась над коробочкой, грызла ее, но не могла открыть. Наконец, какой-то хитростью, повернув механическое приспособление, бесноватая открыла коробочку, и из нее вылилась вонючая бурая жидкость, похожая на сперму — существо было убито, я испытывал ужас, а бесноватая скалилась.

Я говорю, я все слышал, что происходило в мастерской — в это время Кирилл, выкуривший только половину своей сигареты, звонил и обсуждал по телефону, идти ему на парти или не идти, что у него грязные и неглаженные брюки, потом пришел Слава-Дэвид, спросил что со мной, и они тянули меня, смеясь, подымали с дивана, потом оставили. Я плыл и качался. " Флэб — финикиец, две недели как мертвый ; крики чаек забыл и бегущие волны ", — всплыли и исчезли стихи Элиота, сменившись моим московским другом поэтом Генрихом Сапгиром с лицом желтого тигра.

Только утром я смог встать, хотя пытался подняться два раза в течение ночи, но только в восемь утра смог. Слава-Дэвид поджарил мне хлеб в тостере. Хлеб обжигал и обдирав мое горло. Я взял зонт и вышел.

ЛУС, АЛЕШКА, ДОЖОННИ И ДРУГИЕ

Я иду по грязному Бродвею, где мне суют на каждом углу бордельные бумажки, сворачиваю на 46-ю улицу, стучу в черную дверь, и открывает ее мне Алешка Славков, поэт. Стоит он в облаке пара, у них течет в кухне горячая вода, и некому эту воду уже месяц остановить. Я вхожу к Алешке, привычно вижу клоуновские черные котелки и музыкантов инструмент — Алешка делит черную дыру с клоуном и музыкантом — тоже эмигранты из России — вижу три матраца и всякую рвань и грязь, и требую я у Алешки пожать.

Тогда Алешка еще не был католиком, но уже не носил бороду. Его только что выгнали по сокращению штатов с должности гарда, он сдал свою дубинку и форму и стал опять сильно хромым, но бодрым, усатым и черноглазым Алешкой Славковым, любителем поддать. Алешка покормил меня кислой капустой с сосисками — его неизменная еда — и сел переводить принесенный мной документ под названием "Меморандум" — документ, выражающий надежды и грезы, как мы выражались, "творческой интеллигенции" — нас с Алешкой и еще большого количества художников, писателей, кинематографистов и скульпторов, выехавших из СССР сюда и никому здесь на хуй не нужных.

Алешка переводит, а я сижу в залоснившемся старом кресле и думаю о нашем документе и о нашей возне. "Попытка утопающего не утонуть", — думаю я. Две страницы. Чтобы послать их Джаксону, Кэри и Биму. Вдруг помогут с искусством. Впрочем, мы нужны были этим демагогам, пока были там. Здесь нам сунули по Вэлфору, чтоб не пиздели, и хорош. Гуляй, Вася, наслаждайся свободой.

Хладнокровные американцы, умные бя люди, советуют таким, как мы, переменить профессию. Непонятно одно, почему они сами не меняют своих профессий. Бизнесмен, потеряв полсостояния, бросается с 45-го этажа своего офиса, но не идет работать гардом. Сломаться я и в СССР мог, на хуя сюда было ехать. Все, чего от меня хотела советская власть — чтоб я переменял профессию.

Мы тоже хороши, — продолжаю я думать, — самая легкомысленная эмиграция. Обычно только страх голода, смерти, заставляет людей сниматься с места, покидать родину, зная, что они не смогут вернуться обратно, возможно никогда. Югослав, уехавший на заработки в Америку, может вернуться к себе в страну, мы — нет. Мне никогда не видеть больше своих отца и мать, я, Эдичка, твердо и спокойно это знаю.

Восстановили нас против советского мира наши же заводилы, господа Сахаров, Солженицын и иже с ними, которые в глаза не видели Западного мира. Ими двигала наряду с конкретными причинами — интеллигенция требовала участия в управлении страной, своей доли требовала, руководила ими еще и гордыня, желание объявить себя. Как всегда, в России мера не соблюдалась. Возможно они честно обманулись — Сахаровы и Солженицыны, но они обманули и нас. Как-никак "властителями дум" были. Столь мощным было движение интеллигенции против своей страны и ее порядков, что и сильные не смогли противиться, и их потащило. Ну мы и хуйнули все в Западный мир, как только представилась возможность. Хуйнули сюда, а увидев, что за жизнь тут, многие хуйнули бы обратно, если не все, да нельзя. Недобрые люди сидят в советском правительстве...

Умные очень бля американцы советуют таким, как мы с Алешкой, переменить профессию. А куда мне девать все мои мысли, чувства, десять лет жизни, книги стихов, куда самого себя, рафинированного Эдичку деть. Замкнуть в оболочку басбоа. Пробовал. Хуйня. Я не могу уже быть простым человеком. Я уже навсегда испорчен. Меня уже могила исправит.

Переменить профессию. А душу возможно перемнить ? Определенно зная, на что он способен, всякий ли сможет подавить себя здесь и жить жизнью простого человека, не претендуя ни на что и видя вокруг себя деньги, удачу, славу и большей частью все это малозаслуженно, уже зная по опыту и Советского Союза, и здешнему, в данном случае это одинаковый опыт: послушный и терпеливый получает от общества все, протирающий задницу, служащий — получает все.

Гениальных изобретателей вегетарианских бутербродов для секретарш с Уолл — Стрита — раз, два да и обчелся, здесь приходят к успеху по большей части так же, как и в СССР — послушанием, протираанием штанов на своей или государственной службе, скушным каждодневным трудом. То есть, растолкую — цивилизация устроена таким образом, что самые норовистые, страстные, нетерпеливые и, как правило, самые талантливые, ищущие новых путей, ломают себе шею. Эта цивилизация — рай для посредственностей. Мы-то считали, что в СССР рай для посредственностей, а здесь иначе, если ты талантлив. Хуя !

Там идеология — здесь коммерческие соображения. Приблизительно так. Но мне-то какая разница, по каким причинам мир не хочет отдать мне то, что принадлежит мне по праву моего рождения и таланта. Мир спокойно отдает это — место я имею в виду, место в жизни и признание — здесь — бизнесмену, там — партийному работнику. А для меня места нет.

— Что ж ты, мир, еб твою мать ! Раз нет места мне и многим другим, то на хуй такая цивилизация нужна ? !

Это последнее я говорю уже Алешке Славкову, который далеко не во всем со мною согласен.

— А что на ее месте постройте вы, ты и твои троцкисты, — говорит Алешка, почему-то смешивая меня с троцкистами.

— Свалить эту цивилизацию и свалить с корнем, чтоб не возродилась, как в СССР, труднее всего, — говорю я Алешке, — Свалить окончательно — это и есть построить новое.

Так я его агитировал, он возражал, а потом я все же занялся капустой, а он " Меморандумом ". Он хорошо знает английский, перевел эти страницы он быстро. После содеянного, после работы тяжелой он хотел отдохнуть. Отдых в его понимании — это выпивка. Я повел его в мой любимый магазин на 53-й улице, и там мы купили ром с Джамайки — именно то, что я хотел уже с неделю. Он хотел затаскать меня в отель " Лейтем " — у меня же об этом отеле херовые воспоминания, там мы жили, когда приехали с Еленой в Америку, до квартирки на Лексингтон, до трагедии или в самом начале трагедии.

Когда ей надоедало ебаться, тогда это уже началось, и она хотела смотреть телевизор, я разворачивал ее на нашей огромной отдельной постели, во всю жизнь у нас 'не было такой постели, я разворачивал ее, подкладывал подушки, и она стояла на коленках и на руках, смотрела телевизионную передачу, обычно какие-нибудь ужасы и дьявольщину, она это любила, а я ебел ее сзади. Даже это, тогда начавшее проявляться ее невнимание ко мне, не могло меня охладить, мне очень ее хотелось, хотя было уже четыре года, как мы делали с ней любовь, и, возможно, мне пора было остановиться и оглядеться. Я этого не сделал, а зря. Мне нужно было самому изменить наш уклад жизни, не дожидаясь, пока она изменит его насильственно. Я мог еще кого-то ввести, мужчину ли, женщину в наш секс, а я не догадался. Моя инертность, что поделаешь, у меня было много забот — я

работал за 150 в неделю в газете, вечерами писал статьи, надеялся еще что-то сделать на эмигрантском поприще, и держался за свою семью в ее традиционном виде. Не сообразил Эдичка, а ведь она уже выясняла тогда осторожно, спрашивая "А что бы ты сказал, если бы" — дальше следовало предположение, хихикающее предположение о ебущем ее мальчике, которого я в свою очередь ебу в попку, и всякие другие головоломные акробатические трюки. Какой я был мудака, это я-то, для которого в сущности не существовало запретов в сексе. Ведь за все разрешения, какие я ей бы дал, еще больше бы меня любила, а так я потерял ее навсегда и безвозвратно. Впрочем, иногда мне кажется, что есть форма жизни, при которой я мог бы ее вернуть, но не как жену в старом смысле этого слова — это уже невозможно. Парадокс — я, который хочет нового больше всех, сам оказался жертвой этих новых отношений между мужчиной и женщиной. За что боролись, на то и напоролись.

— Пойдем выпьем еще, — сказал он.

Я согласился. Пошли искать пиво. Нашли пиво. Он устал ходить — негушасяся нога, что ни говорите, долгой и быстрой пешеходной практике не способствует. Я предложил ему сесть где-то на улице и выпить. Мы отыскали самый темный двор на пустыре позади вяло работающего паркинга и присели на шпалы или бревна и стали пить пиво. Состояние было умиротворенное — шарканье подошв с Бродвея, ночная относительная прохлада, холодное пиво — благо американской цивилизации, все это создавал атмосферу причастности и нашей к этому миру.

И тут появился идущий от паркинга к нам человек. Подошел. Черный, в обносках, в чем-то мешковатом. Светлозеленые помоечные брюки в луче света. Закурить, сигарету просит.

— Нет сигареты, — говорит Алешка, — кончились. Хочешь — дам денег — пойдешь купи. — И дает ему доллар. Он, Алешка, любит повыебываться. Доллара ему не жалко, ради выебона он последнее отдаст.

Мужик этот черный взял доллар — сейчас, говорит, приду, принесу сигарет, и ушел в черный провал Бродвея.

— Мудака, — говорю Алешке, — зачем доллар дал, это даже неинтересно, лучше б мне дал.

— А хуля, — смеется Алешка, — психологический тест.

— Вот мне жрать завтра нечего, мой чек придет из Вэлфара только через четыре дня, а ты, сука, тесты устраиваешь, ученый хуев, Зигмунд Фрейд.

— Придешь ко мне — пожрешь, — говорит Алешка.

Так мы переругивались, когда минут через десять появляется этот черный.

— Ни хуя себе, — сказал я, — честный человек в районе 46-й улицы и Бродвея. Что-то нехорошее произойдет вскоре. Плохая примета.

— Я тебе что говорил, — смеется Алешка.

Сел черный, сигарету закурил. Алешка ему банку пива сует. Разговаривают они с Алешкой на серьезные темы.

А я уже ни хуя не соображаю. Пиво свое дело сделало. Искоса на черного поглядываю — окладистая борода, бродяжьи тряпки. Отчего и почему, но вернулся в меня ощущение Криса. И даже не сексуальное, а именно быть в отношениях захотелось, идти куда-то, хоть на темное дело, на что угодно, но прицепиться к этому мужику и вползти в мир за ним. "Ушел от Криса, мудака, исправляй теперь ошибку!" — говорил я себе.

Проблемы ебли у меня тогда не было. Пусть вяло и хуево, но я ебался с Соней, в предвкушении этого вялого действия с ней у меня еле-еле стоял мой бледный хуй. Соня была еврейская девушка, то есть русская, эти люди были мне известны, мне нужно было, чтоб меня мучили, а она, бедная девочка, этого делать не умела. Я нового мира хотел, жить половинчатой жизнью мне надоело. И не русский, и никто...

Джонни в эту ночь бросал меня порой надолго, и у меня не раз возникало подозрение, что он хочет от меня отвязаться. Где-то часа уже в четыре ночи он втиснулся в группу черной молодежи на 42-й улице, между Бродвеем и восьмой и старался что-то у них выпросить. Его кое-кто гнал.

Я же сидел у стены на корточках и наблюдал за молодежью и за Джонни. Мне было грустно. И эти не принимали меня в игру. Я отдал бы в тот момент все, чтобы иметь черную кожу и стоять среди них своим.

Я вспомнил свой провинциальный Харьков, хулиганов-друзей, наших разбитных и разряженных девочек, конечно, не так разряженных, не те возможности, но тоже вызывающих, молодых и вульгарных, как эти черненькие милые девицы. Там, в своем городе я был на месте. Все знали Эда. Знали, на что он способен. Знали, что я торгую по дешевке ворованными контрамарками — так назывались билетики для входа на танцплощадку, где играл оркестр, что делю выручку с немкой билетершей, неплохой был бизнес. За вечер я зарабатывал треть или половину месячной зарплаты хорошего рабочего — танцплощадка была большая. Все знали, что я не прочь украсть, где что плохо лежит, и магазин возле проходной завода "Серп и Молот" ограбил я.

Народ знал мою девицу Светку, мне тотчас в тот же вечер доносили, если видели ее на другой танцплощадке с другим парнем, и тогда я шел, оставив торговать вместо себя какого-то парня к гастроному, покупал с другом по бутылке красного крепкого, выпивал его, прямо на улице, порой проделывал эту операцию два-три раза, после, распродав все контрамарки, шел к дому Светки и ждал ее. Я сидел во дворе, разговаривал с татарскими братьями, боксерами Епкиными и ждал Светку. Когда она появлялась, я бил ее, бил того, кто шел с ней, братья Епкины, любившие и Светку, и меня, вмешивались, стоял шум и крик, потом мы мирились и шли к Светке. Мать ее была проститутка и любительница литературы. Она очень ценила мой, семнадцатилетнего парня дневник, который я по просьбе Светки давал ей читать. Наш роман она поощряла, а мне предрекала будущее литератора. К сожалению, она оказалась права.

Светка была очень милая девочка, красивая, но подлая. Любила модные тогда крахмальные нижние юбки и пышные платья. Жила она в квартире 14 и было ей 14 лет. С мужчинами она жила с 12 лет, изнашивал ее как-то друг покойного тогда уже отца-алкоголика. Светка этим обстоятельством, как ни странно, гордилась, была она натурой романтической. Кроме высокого роста, маленького кукольного личика, длинных ног и почти полного отсутствия груди, Светка обладала удивительной способностью доводить меня до безумия. Наш с ней роман насчитывал множество происшествий — она бегала топиться к пруду, я резал ее ножом, уезжал от нее на Кавказ, плакал у нее в подъезде и так далее... Это была как бы генеральная репетиция Елены.

Так вот, возле своей танцплощадки, в толчее молодежи, в основном молодежи преступной, такой у нас был район, я чувствовал себя прекрасно. В нашем районе были дома, где все мужское население сидело в тюрьмах. Сидели отцы, сидели старшие братья, потом сидели младшие — мои сверстники. Я мог бы вспомнить с десятков фамилий ребят, приговоренных в свое время к высшей мере наказания — расстрелу. А число парней, приговоренных к 10 и 15 годам, и вовсе было значительным.

Черная и черная молодежь на 42-й напоминала мне мой район, мою танцплощадку, моих друзей, хулиганов, бандитов и воров. Я говорю эти слова не с оттенком осуждения, нет. К тому же большинство той харьковской толпы возле танцплощадки и этой на 42-й стрит толпы составляли, конечно, не хулиганы и бандиты, а нормальные подростки — и юноши и девушки, желающие в своем переходном возрасте повыбываться. В России они назывались блатными. Они не были настоящими преступниками, но их манеры, поведение, привычки, одежда были подражанием манерам, поведению, привычкам и одежде настоящих преступников. Здесь было то же самое.

— Как тебя зовут, — сказал я, пересаживаясь к этому мужику.

— Он же тебе представился, когда подошел, ты ни хуя не слышишь, — сказал Алешка. — Он же сказал, что его зовут Джонни.

— Алеш, я хочу его выбеать.

— А может, он и не педераст совсем ? — сказал Алешка, с сомнением поглядев на Джонни.

— Сейчас проверим, — сказал я, и приподнявшись с плеча Джонни, обнял его и, прошептав ему на ухо — " Ай вонт ю, Джонни ! " — поцеловал его в губы. Губы у него были большие, и он, не проявив не малейшего смущения, ответил мне. Целоваться он умел, куда лучше чем я он это делал. Правда, это ничего не значило, но раз он шел на это, на поцелуи, значит был согласен и на остальное.

— Подойдет, — сказал я Алешке, — пойдем.

— Вы будете ебаться, а я что буду делать ?

Он был прав, и мы ушли одни.

Далее начинается долгое ночное хождение мое вместе с Джонни по Бродвею, восьмой авеню и прилегающим улицам, от 30-х улиц до 50-й. Я не знаю, для меня до сих пор остается загадкой, почему он не пошел со мною сразу ебаться и что он делал, останавливаясь иной раз с какими-то людьми, разговаривая с ними, подходя к проституткам и рабочим всяких ночных заведений, не знаю. Делал он какое-то мелкое свое дело, занимался этим до самого рассвета, ему что-то давали в руку, может, это были монеты, я не знаю, мне видно было, что выражение лиц беседующих с ним людей часто было презрительным и брезгливым. Один раз какой-то молодой и красивый черный, ярко одетый, очевидно, пимп — сутенер — его даже толкнул. Он последний человек в этом мире, мой Джонни, а я был его дружок.

— Коман ! — сказал подошедший Джонни. Может быть, моя преданность и то, что я полночи ходил вместе с ним, его тронула, и он что-то решил обо мне. Я безропотно пошел за ним. Мы пошли вниз по 8-й авеню. 41-я, 39-я, 38-я.

На 38-й кто-то приставил мне сзади нож. Это ощущение ножа сзади было мне знакомо. Нас окружили и велели нам, мне и Джонни тоже, идти. Вперед.

Я шел, а нож и его владелец шли вместе со мной, как приклеенные. Что он, мудака, так старается, молодой, подумал я со смешком. У меня ни хуя не было, ни хуя, мелочь какая-то в кармане. Нашли кого грабить — дурье. Ребята были молодые, начинающие — три черных и один светлый. Их было четверо...

О Господи, опять воспоминания. Тех тоже было четверо, со мной нас было четверо. Мы ходили с самодельным пистолетом грабить на ночные окраины Харькова. Мы боялись больше, чем наши жертвы. Сверх одного по-настоящему стреляющего пистолета, были у нас две деревянные модели, которые я сделал с отцовского пистолета " ТТ " один к одному, миллиметр к миллиметру и выкрасил в черную блестящую краску.

Нашу первую жертву — белокурую женщину лет тридцати, тогда она казалась старухой нам, семнадцати и восемнадцатилетним, одному из нас — Гришке было только пятнадцать, мы грабили так мучительно-неумело, так глупо, так стыдно, что мне кажется, даже она, несмотря на испуг, что-то поняла и сказала нам довольно спокойно " Мальчики, может, не надо ! " На что самый младший из нас и самый злой, Гришка, дрожа от трусости, крикнул ей : " Молчи, сука ". Если бы она знала, она могла бы спокойно уйти от нас, и мы ничего бы не сделали.

Потом, сидя под мостом, мы хвастались друг перед другом, и вынув из ее сумочки 26 рублей с копейками, сумочку вышвырнули в речку, а деньги делили. Деньгам мы очень радовались, а больше, наверное, радовались, что вся эта мука кончилась, слава Богу, и теперь можно разойтись по домам, спрятав модели и самодельный пистолет под мостом. " Надо было ее выбеать ! " — сказал Гришка. Действительно, мы могли ее изнасиловать, но почему-то не сделали этого. Теоретически могли. Практически от

пережитого страха наши молодые хуи, возможно, и не поднялись бы, мой, по крайней мере, не поднялся бы, я слишком тонкое существо был и остался...

Ребята привели меня и Джонни на темный паркинг "Холдап!" — сказал старший из них. Я спокойно положил руки на затылок. Старший, довольно рассудительный юноша, сказал: "Что это?", показав на мои руки. "Профессиональная привычка, — зачем-то соврал я. — Я сидел у меня на родине в тюрьме". Его удивили руки замком — так действительно при обыске кладут руки, чтоб не уставали, старые прошедшие лагеря преступники. Я перенял эту привычку, в тюрьме я не сидел, судьба уберегла. "Где твоя родина?" — спросил старший парень. Может быть, он был не старше других, но он распоряжался. "Я из России", — ответил я.

— А я иногда здесь сижу в тюрьме! — вдруг рассмеялся старший.

Он ощупал мои карманы, но напряжение уже спало. Расслабились и они, и я. Кроме записной книжки и ключа от отеля, впрочем, без бирки с названием, наш отель такой роскоши не имеет, у меня в карманах ничего не было. Даже мелочь куда-то исчезла, не знаю куда, может, вывалилась, когда я сидел на корточках на 42-й улице.

Внезапно старший взялся за мой крестик. У меня помутнело в глазах. Это отдать я не мог. И не в Боге тут было дело. Как бы память о моей родине был для меня он — серебряный, довольно крупный крест с синей облупившейся кое-где эмалью. "Онли вис май лайф!" — быстро и тихо сказал я по-английски. И закрыл крест рукой. "Это символ моей религии и моей родины", — добавил я. Парень убрал руку.

Они отпустили нас. Впрочем, Джонни как будто обыскивали в стороне, но я думаю, это его рук дело — этот грабеж. Вряд ли случайно. Посмотрев на него, хуй скажешь, что он годится для того, чтобы его грабить. Бродяга — бродягой. Я думаю, он это подстроил. Подошел к своим знакомым и попросил, только чтоб симитировали, будто и его грабят тоже... Проверить, что у меня есть.

Они ни креста не тронули, ни ударили меня и книжку не забрали. Но они совсем не были благородными грабителями. Они поинтересовались, от какого отеля ключ. Я, хоть и был весь в нерассеивающейся дымке наркотиков и алкоголя, но я сообразил и что-то нагло соврал им. Они поняли, что вру, но что они могли сделать.

Нет, они были поопытнее тех четырех в Харькове, включая меня четырех. Иначе до ключа не додумались бы, они не первый раз были на деле, совсем не первый, хотя будь я переодетый полицейский, я бы их всех скрутил легко и просто, уж больно непрофессионально держались. Уж я эти штуки знаю. Шесть лет мой воровской опыт насчитывает — с пятнадцати до двадцати одного года. После двадцати одного я стал поэтом и интеллигентом.

Ушли мы с Джонни. И я злился на него — явно это он все подстроил — подлая морда! Кроме всего прочего, мне хотелось уже есть, и я ему об этом сказал. Он же продолжал таскать меня по всяким закоулкам, где о чем-то с такими же темными личностями говорил, что-то получал в ладошку и шел дальше. Мои просьбы о еде он игнорировал.

— Жадный бродяга, мерзкая жлобская личность! — ругал я его по-русски и по-английски, плетясь за ним. Он смеялся. Он отлично понял, что я хочу есть. Мой варварский английский понимали везде и всюду, почти не переспрашивая. Но он не хотел купить мне еды. Я очень злился на него, он надоел мне. Начинало светать.

Когда я подошел к своему отелю, электронные часы на башне Айбизм показывали 7.30.

Я ДЕЛАЮ ДЕНЬГИ

Наутро меня разбудил звонок Джона. "Коман даун, Эд!" — сказал он. Через две минуты я был внизу и прыгнул в кабину трака, стоящего у подъезда.

Дело в том, что порой я хожу делать мои деньги. Во всех случаях, если мне предлагают работу, я не отказываюсь. Случаев этих мало и источник работы практически единственный — Джон. Он мой босс и единственный известный мне представитель славной компании "Бьютифул мувинг".

Джон — он же Иван — очаровательное существо. Матрос, удравший с советского рыболовного судна в Японских проливах. На надувной резиновой шлюпке у берегов Японии, относимого течениями и пережившего шторм его подобрала японские рыбаки. Из Японии он попросился в Штаты.

Джон — мужественного вида парень с чуть курносом носом — высокий и крепкий, такого же возраста, как Эдичка. Джеклондоновский персонаж. Говорит он исключительно по-английски, страшно коверкая слова, с ужасным деревянным акцентом, но по-английски. Ко мне он еще снисходит и говорит со мной по-русски, к другим более суров. Этот вариант человека из народа мне хорошо знаком, желание не быть русским, презрение к России, ее людям и языку тоже знакомы. С некоторыми отклонениями, но почти таким же был мой приятель Поль. История его менее удачна, чем история Джона, но еще более яркая.

Неведомо где заразился франкоманией сын простых рабочих родителей, живший в маленьком частном домике на окраине Харькова — Павел Шеметов. Во флоте, где он служил матросом (и у Питера флот!), за четыре года Павел до деталей выучил французский язык. В тот момент, когда я с ним познакомился, он говорил по-французски, изошренно, по желанию мог говорить с марсельским, парижским и бретонским акцентом. Проезжавшие изредка через Харьков на юг французские туристы, которых мы ловили по инициативе Поля, чтобы пить с ними водку у ограды дома митрополита, на холме над Харьковом, и совершать с ними натуральный обмен товарами, честно принимали его за репатрианта, их много в свое время приехало в СССР из Франции.

По фотографиям, рисункам и планам Парижа Поль изучил все парижские улицы, улочки и тупики. Он рисовал их во множестве акварелью. Я думаю, он с закрытыми глазами мог бы пройти по Парижу и не заблудился бы. Названия типа — пляс Пигаль, кафэ Бланш, Этюаль, Монмартр и тому подобные звучали для него неземной музыкой. Он был перефранцужен до патологии. Он отказывался говорить с людьми по-русски, он не вступал в беседы в автобусах и трамваях. "Не понимаю", — коротко бросал он. Только нас, своих друзей, он еще как-то выделял. И то, думаю, в душе он нас презирал за незнание французского.

Поль до такой степени перефранцузился, что даже внешне, я имею в виду прежде всего его лицо, стал совсем непохож на русского и действительно напоминал француза, скорее всего жителя небольшого бретонского городка. Много раз, еще в России, разглядывая западные иллюстрированные журналы, я встречал там лица, удивительно напоминающие лицо моего бедного друга Поля.

Судьба его трагична. Он слишком рано созрел, когда еще невозможно было выехать из СССР, не выпускали еще евреев, не существовало еще практики выставления, выброса за границу неугодных элементов. Было рано, а Поль уже тогда был готов, он так хотел уехать из ненавистной ему страны в свою любимую Францию — в рай, который он себе

создал в воображении. Не знаю, был ли бы он счастлив в этом раю. Возможно, был бы счастлив. Я знаю о трех его попытках убежать из Советского Союза.

Первая сошла незамеченной. Уйдя с кожевенного завода, Поль, скопивший немного денег, стал много времени проводить в центре города, заходил в кафе и немногочисленные значные места Харькова. Где-то там он и познакомился с "Зайчиком" — довольно смазливой и крупной девицей, которую знал весь город как проститутку, и женился на ней и переехал к ней. Ее мать была торговой женщиной. Обходя советские законы, купив кое-кого из милиции, она успешно делала деньги, покупая дефицитные товары в одном городе и продавая в другом. К этому бизнесу она приспособила и своего зятя — Поля. Однажды она послала его в Армению. Там он узнал, что какой-то крупный чиновник берет огромные суммы и переправляет людей нелегально в Турцию. Чиновник принимал их на работу — строить автомобильную дорогу. Часть дороги строилась на турецкой территории. Полю не повезло. Когда он приехал на границу, начальник уже сидел в тюрьме.

Вторая попытка была крушением всей жизни Поля. Он рвался, искал выхода, приезжал ко мне в Москву, ничего не говорил, весь день потерянно смотрел в одну точку, вечером он исчезал, отправляясь по подозрительным адресам. Потом он уехал.

Позже я узнал, что он отправился в Новороссийск и там сумел договориться с матросами какого-то французского корабля, что они его спрячут и вывезут из СССР. Но к Полю, очевидно, не благоволила госпожа Фортуна. В команде оказался человек, работавший на советских таможенников. Говорят, такие случаи часты — эти осведомители работают за деньги. По его доносу, уже на внешнем рейде в Батуми, последний советский порт на Черном море, дальше уже шла Турция, корабль задержали, был произведен обыск, и Поля извлекли из его тайника. При нем нашли политические карикатуры на глав Советского правительства. Был суд, и... если так можно сказать, хоть в этом ему чуточку повезло — его признали душевнобольным.

Я не знаю, так ли это на деле. Допускаю, что так. Я не думаю только, что он сразу родился душевнобольным. Какая-то патология в нем была, и, очевидно, развивалась постепенно. Он слишком ненавидел Россию, неумеренно. "Козье племя", "эмбицилы", "пидармерия", "коммунисты", — это были его обычные, ежедневно много раз употребляемые слова. Их он обращал не только к коммунистам, но и к простым, ни в чем не виновным обывателям.

Его подержали с год в психбольнице и вскоре он уже сидел опять на скамейке возле памятника Шевченко в Харькове, покурил сигарету и поглядывал на свою дочь Фабиану, играющую у его битлзовских сапог. Теперь он ни с кем не разговаривал. Потом он вдруг исчез.

Оставалось неизвестным, где он и что с ним, пока с западной границы СССР, из Карпат не пришел в харьковскую психбольницу запрос с просьбой выслать медицинскую историю болезни Павла Шеметова, задержанного при нелегальном переходе западной границы Союза Советских Социалистических Республик в районе города Х.

Грустная история, не правда ли? Я же, Эдичка, вспоминаю еще одну деталь. Давным-давно, еще до армии Поль женился. Была свадьба. Все гости перепились, но алкоголя все равно не хватало. Невеста, впрочем, уже жена его, послала Поля за пивом, ей захотелось пива. Когда Поль вернулся из магазина с ящиком пива, он обнаружил свою невесту, ебущуюся в одной из комнат с его лучшим другом... Приятно... Может быть, тогда он и возненавидел грязь и мерзость этого мира. Только не знал он, бедный, что грязь и мерзость существуют везде. И откуда ему было бедному знать, что не русские люди тут виноваты, не коммунистический строй.

Дальнейшая судьба Поля, после письма из Карпат, мне неизвестна.

Но вернемся к Джону. Джон куда менее образован, чем Поль. Поль был почти интеллигент. И во Францию он рвался как в мир искусства, как в Эдем. Джоном руководили

куда более практические соображения. Он ехал в Америку, чтобы разбогатеть — стать миллионером. И я уверен — он им станет. Я не очень хорошо себе представляю, кто хозяин компании "Бьютифул мувинг". Все дела вершит Джон. Он — шофер, он же грузчик и администратор. По своему выбору он нанимает нас — грузчиков. И на его же, Джонов телефон поступают заказы. Хозяин только дает деньги, дал деньги — первоначальный капитал.

Мы перевозим людей с квартиры на квартиру. Иногда люди переезжают в пределах одного района, иногда из штата в штат. Из Нью-Джерси в Пенсильванию, из Нью-Йорка в Массачусетс. Длинные перевозки интереснее. Я уже повидал ряд похожих друг на друга маленьких городков в пяти-шести восточных штатах, в основном в Новой Англии. Если мы едем вдвоем, то или молчим, и тогда я разглядываю пейзажи вдоль дороги, то вдруг молчаливый Джон начинает рассказывать о своей жизни на траулере. Не выдерживает джеклондоновский герой и немного по возможности своей скупой и суровой натуры раскисляется, говорит о себе.

Обычно это происходит в середине дня. Утром он молчит, как пень. Когда я прыгаю к нему в кабину, он изрекает только короткое "Хай", и потом можно обращаться к нему, он хуй чего ответит, уж будьте уверены. Я привык к нему и тоже молчу. В сущности, он мне нравится, нравится его лицо, фигура, характер. Среди бесхребетных нытиков-интеллигентов, прихавших в Америку, он приятное исключение — простой человек. Крепкий он парень. Редкость. Он не рассуждает, он вкалывает и собирает деньги, чтобы открыть свое дело. Он настоящий русак, хотя как-то сказал, что ему по хуй его национальность. Пусть говорит, но от этого не убежишь — он русский, как и я. Русский даже в том, что не хочет быть русским.

Как я сказал, он очень крепкий парень. Не пьет, не курит, экономит, живет в плохом районе и делит квартиру еще с кем-то. Он хорошо и ловко водит свой тяжеленный трак, кое в чем я ему, моему сверстнику, завидую, хотя Эдичка вообще тоже крепкий парень. Не знаю, общается ли он, Джон, с женщинами. Вопрос этот в некоторой степени занимает меня — говорят, он ебет какую-то женщину, у которой будто бы арендует трак. Может, она и его босс — одно и то же лицо. Я легко мог бы узнать о делах компании у Джона, но не хочу выглядеть любопытным. В конце концов, мне нужны мои четыре доллара в час, которые я зарабатываю, таская чужую мебель в элевейторах и по лестнице. Еще мне интересно разглядывать чужие квартиры — вещи многое мне говорят об их хозяевах.

Теперь я основной грузчик Джона. Очевидно, он считает меня хорошим грузчиком. Раньше у него были и другие грузчики. Диссидент Юрий Фейн — человек лет 45, известный главным образом тем, что женат на сестре первой жены нашей знаменитости, нашего пророка Александра Солженицына. Еще это Шнеерзон — тоже диссидент, человек, приехавший в Израиль в тюремной советской одежде, толстый профессорский сын. Он, Алексей Шнеерзон, быстро свалил из Израйля, теперь получает Вэлфэр. Я уже упоминал, что это он повел меня ничего не соображающего, полуживого, с гноящейся рукой в Вэлфэр-центр и устроил все так, что мне дали мою пенсию в один день. "Эмердженси ситуэйшен" !

Помню, как широко и удивленно открывали глаза американцы в Вэлфэр-центре, когда сопящий, толстый и взлохмаченный Шнеерзон объяснял им, показывая на меня — бледного идиотски коротко остриженного человечка, что у меня эмердженси ситуэйшан, что я в ужасном состоянии, что меня бросила жена. Они удивлялись, для них это было, возможно, смешно, в большинстве своем обособленные и замкнутые на самих себе, они вряд ли могут так ненормально любить другого человека. Но нужно отдать им должное, они не оспаривали мое право быть таким, как я есть. Если для русских уход женщины — эмердженси ситуэйшан и они не могут есть, пить, работать и иметь квартиру, что ж — значит, они такие, русские. Хуй с ними, дадим этому человечку Вэлфэр.

Может быть, они думали именно так. А может, как поговаривают многие эмигранты, у них в Вэлфэре есть секретное распоряжение американского правительства давать всем русским, которые этого захотят, Вэлфэр, дабы не доводить людей до крайности и не сечь в лужу перед мировой общественностью со своей хваленой системой, где всем будто бы есть место. Очень многие русские получают Вэлфэр. Я думаю, что стоит прямо с самолета отправлять эмигрантов из СССР в Вэлфэр-центр. Они, которые надеялись на золотые горы здесь, совершенно не могут усвоить себе скромную философию простого западного труженика. Быть как все — зачем было тогда уезжать? Здесь простой человек с гордостью произносит: "Я — как все".

Да, но Джон. Я говорил о нем. Забавно, что все мы: интеллигенты, поэты и диссиденты находимся под началом у простого парня с рыболовного траулера. Он оказался куда более приспособленным к этой жизни, чем мы. Свои обязанности, свой бизнес он делает серьезно и истово. Стоит посмотреть, как он входит в апартмент переезжающих, как предоставляет место в договорном листе, как требует заказчика расписаться. Все это делается очень важно, и важной выглядит его канцелярская папка, пружины, прижимающие листы, блестят и сверкают, а сзади стоим мы — одни, как Фейн, очень правые, другие, как я, очень левые, третьи, как Шнейерзон, неопределенные — и держим наготове тележки для перевозки мебели, ремни и упаковочные одеяла. И мы ждем сигнала нашего делового человека — Джона.

Подпись поставлена. Миссис расписалась. С этого момента незримый счетчик отсчитывает нам наши сенты. Мы, как автоматические куклы, начинаем двигаться. Брать руками, подставлять тележку, переворачивать, везти, приподымать тележку на пороге или ступеньке, опять везти — двигать, отвинчивать зеркала, укутывать их в специальные одеяла — однообразные ритмические операции, разнообразящиеся только размерами предметов и поворотами лестниц, подходами к лифту, выездами из подъездов и погодой.

Мы довольно дешевая компания, часть наших заказчиков — эмигранты, потому что наряду с американскими газетами наше объявление публикует и "Русское Дело". Эмигранты живут чаще всего в бедных районах, скарб у них не Бог весть какой. Иной раз приходится перевозить в богадельни каких-нибудь сумасшедших старух и таскать их грязное барахло.

Обливаясь потом, в самоуничижении и бесчисленных толкающих воспоминаниях, то от луча солнца, то от выпавшей из плохо завязанной коробки книги — "Я читал ее, потом пришла она — Елена, и мы..." — идут рабочие минуты. Особенно странное занятие перевозить, таскать русские обширные библиотеки. Здесь, в Америке русские книги производят неожиданное впечатление. Таская собрания сочинений, мутно-зеленые корешки Чеховых, Лесковых и других восхвалителей и обитателей сонных русских полдней, я со злостью думаю обо всей своей родной, отвратительной русской литературе, во многом ответственной за мою жизнь. Бляди мутно-зеленые, изнывающий от скуки Чехов, вечные его студенты, люди, не знающие, как дать себе лад, прозябатели этой жизни таятся в страницах, как подсолнечная шелуха. И буквы-то мне маленькие многочисленные противны. И я себе противен. Куда приятнее перевозить яркие американские книжки, которые к тому же не все, слава Богу, понятны.

Мы перетаскивали тома Большой Советской энциклопедии и теперь тащим ящики, в которых, как говно в проруби, болтаются бумажки с грифом "Радио Либерти". Грязенькая организация... Хозяин-то интеллигент из Киева, с седеющей бородкой — он, оказывается, вон где работает. Почему-то они все не задумываясь начинают сотрудничать с СиАйЭй. У меня, который от советской власти и рубля не получил, казалось бы, больше оснований озлиться на свою бывшую родину и пойти работать в организацию, финансируемую американской разведкой и направленную на разрушение России. Но я ни на кого не работаю. Я там не сотрудничал с КГБ, а здесь не стал сотрудничать с СиАйЭй — это для меня две идентичные организации.

Хозяин библиотеки, с седенькой бородкой, восторженно говорит Фейну, что у него взяли статью в юбилейный номер. Нашел чем гордиться, остолоп. Седенький был в СССР киносценаристом — работал на советскую власть. Я не встречал в СССР свободных киносценаристов, естественно, он писал там то, что нужно власти. Здесь он пишет тоже именно то, что нужно здешней власти, такие люди при всех режимах работают на власть. Они родились, чтобы служить, выполнять функции. Без особых угрызений совести они меняют хозяев. А чего нет ?

— Проститутка ! — думаю я о седеньком. Проститутка тоже тягает, тяжело дыша, шкафы — экономит время и деньги. Очевидно, ему на Радио Либерти платят не густо. Или от жадности. " А почем нынче Родина ? " — хочется мне спросить у него... Тягает. Таскает и его сын — загорелый атлет лет шестнадцати. Молодящаяся мамаша мебель не таскает. " Маму можно выебать ", — так говорит как всегда присутствующий при мне вездесущий Кирилл ?

— На хуя этой проститутке Большая Советская энциклопедия, продолжаю думать я о нашем клиенте. Ясно, что и энциклопедия, и огромный Орфографический словарь нужны ему только затем, чтобы грамотнее продавать Родину. Даже книжки в бумажных переплетках о героях отечественной войны вывез. Зачем ? Как возможный материал для своих скриптов. Для каких-нибудь " разоблачений ". Писал же один такой, только из второй эмиграции, кажется, и до сих пор пишет — советскую книгу прочтет и якобы антисоветские тенденции у автора находит — и статья в газету готова. Так и живет, статья за статьей.

Джон, он мне нравится. Хуево, что он не любит черных. " Чернота ", говорит он о них. Его расизм простого крестьянского парня из России носит довольно примитивный характер. Проезжая вместе со мной по разным провинциальным городам, он прежде всего определяет, много ли здесь черных. Высшая похвала для города — оценка Джона : " Здесь совсем нет черноты ". Джон восторгается штатом Мэйн, где совсем нет черных, где чистые, незагрязненные вода и воздух. Черных Джон присоединяет к загрязнению. Простые люди тоже полны говна. Били же рабочие студентов, демонстрировавших против войны во Вьетнаме. А расовые столкновения в Бостоне — в них виновны вовсе не капиталисты, это простые господа рабочие не хотят, чтобы их дети учились вместе с черными детьми. Простые люди полны дерьма в наше время тоже.

Ехал я как-то по Нью Джерси торнпайк, — рассказывает Джон, — и передо мной в машине перевернулись черные. Орут из машины, а я объехал их и дальше спокойно покатил. Оглянулся, а там уж кодло американцев набежало, вытягивают черноту из машины.

— Ну ты и расист ! — говорю я ему.

Он не злится, а смеется. Расист — ругательное слово для американского профессора-либерала, для человека с белорусских полей, матроса с траулера, расист не ругательное слово.

Мы часто возвращаемся из наших поездок через Гарлем по Ленокс-авеню, и он, спокойно управляя тяжелым траком, глядя на толпу, цедит сквозь зубы " Манки, манки ! ", впрочем, без особой злобы. Он указывает мне на совершенно пьяного или накурившегося парня, который качается и машет руками. Джон довольно смеется.

Он платит мне мои деньги, и мелькнув коротко остриженной по-американски головой, нажав веревочной туфлей газ, исчезает за поворотом. Я иду к моему отелю.

Последнее время Джон воспылал ко мне любовью. Во-первых, он теперь почти исключительно работает со мной. Во-вторых, он порой звонит мне и в нерабочее время и приглашает отдохнуть с ним. Однажды он повез меня куда-то, не называя куда. У него это обычный прием, я тоже не раскалываюсь, молчу, не спрашиваю, куда везут, только на дорогу гляжу, пытаюсь отгадать. Ага, вот теперь ясно — это Толстовская ферма. Повернул он от фермы вправо, виляя между подержанных машин, подъехали мы к одноэтажному барaku на две семьи. Вошли.

— Это Эд, — представил он меня парню с седыми висками. — Его зовут как меня — Джон, — сказал Джон, грубо показывая на парня.

— Да, кое-кто зовет меня Джон, — сказал человек мягко, — а кое-кто Ваня.

Квартирка была малюсенькая, в маленькой соседней спальне спала маленькая дочка хозяйина, и пока ее не было, пока она не проснулась, мне было ужасно скучно и даже тоскливо. Сейчас вы поймете, почему.

Джон привез с собой магнитофон, грубый, ширпотребный, с дребезжащим звуком, и включил его, пела какая-то американская девушка о том, что то, что было вчера, не вернется никогда и что это ужасно и еще многие другие грустные слова. После этой девушки Джон записал какого-то русского старика — Кузьмича или Петровича. "Чего хочешь Кузьмич, говори или пой", — сказал Джон из тайприкордера. Джон на стуле хмыкнул. И когда Кузьмич запел, путая слова, русскую народную песню "Когда я на почте служил ямщиком", я каюсь, встал и тихонько вышел.

На хуй мне эти дергающие меня русские песни о любимых, найденных под снегом мертвыми. Это было слишком близко ко мне. В то время, да и сейчас, даже англо-русский словарь обдавал меня жутью. Слова "возлюбленный", "страстный", "совокупление" и другие подобные, мучили меня адскими муками. Я корчился, читая их. Не хватало мне только русских песен.

Я вышел, шумели деревья, зеленела трава, вечерело, болгарский юноша из соседней семьи сидел на крыльце и постукивал высоким каблуком по порогу. Я подошел к вану, на котором мы приехали, привалился к его желтому высокому корпусу лбом и затих. Из дома доносилось заунывное дедово пение. "Зачем все это, — думал я, — разве нельзя было прожить всю жизнь в любви и счастье, жизнь такая короткая, такая маленькая, чего она, Елена, ищет, какая сила гонит ее вперед или назад, почему я должен переживать такие вот и куда более страшные минуты. Можно было пройти вместе всю жизнь — авантюристами, блядьми, проститутками, но вместе." Последняя фраза моя любимая.

Прошло это быстро. Ведь это был уже конец лета, а не март или апрель. Я не обзавелся прекрасным настроением, но когда я зашел в дом, дед уже допевал "Коробейников" и появилось маленькое заспанное существо двух лет, — Катенька, даже чуть меньше двух лет. Папа-болгарин одел существо, и оно стало передвигаться среди нас, более всего в моем районе, издавать звуки и улыбаться мне. Я поймал себя на том, что слежу только за Катенькой, разговоры Джона и Ванечки были мне неинтересны. Они говорили что-то о тех поддержанных машинах, которые стояли вдоль дороги к барaku. Машины, оказывается, продавались, и дешево. Белый понтиак стоил всего 260 долларов. На цене Понтиака я и отключился, потому что я решился, я взял эту Катеньку и посадил себе на колени.

Господи, что я, несчастное испуганное существо, знал о детях. Ни хуя. Маленькое растение нужно было развлекать. На голове у меня была старая соломенная шляпа Джона, я то снимал ее, то одевал, стараясь вызвать улыбку на лице малышки. Девочка, которая по возрасту была ближе к природе, к листьям и траве, чем к людям, понимала меня, она не плакала, она не хотела меня ничем пугать, она положила свою малюсенькую лапку мне на грудь — рубашка у меня была расстегнута, и погладила меня. Лапка была горячая, и от этой лапки потянул в мое тело такой звериный уют, какого я не чувствовал с тех пер, как засыпал, обнимая Елену.

Вдруг я подумал, что ведь очень не любил когда-то детей, и как я был счастлив сейчас с этим существом на коленях. "Вырастет, будет красивая, Ванечка был ничего парень, жены я его еще не видел. — Дай-то Бог тебе счастья, зверек, — думал я, — только если счастья, то на всю жизнь, и не дай тебе Бог познать счастье, а потом всю остальную жизнь жить в несчастье. Самые страшные муки".

Зверек сидел у меня на коленях, а я, дурак, не знал, что с ним делать, я только осторожно поддерживал его под спинку и корчил ему смешные гримасы. Я был

неумелый. У меня никогда не было детей. Была бы у меня сейчас такая Катенька, какой бы я был сильный и был бы у меня стимул жить. Я не отдал бы ребенка в школу, в гробу я видел ваши школы. Я одевал бы ее в прекрасные наряды, самые дорогие, я купил бы ей большую умную собаку...

Так я бесполезно мечтал, глядя на чужого ребенка. Почему бесполезно, скажете вы? Конечно, бесполезные это были мечты. Я не мог уже иметь ребенка от любимой женщины, от нелюбимой я бы его не любил. Мне не нужен был нелюбимый ребенок.

Нельзя было так долго держать ее на коленях. Они могли заметить, мне бы не хотелось. Для Джона я был беспринципным отчаянным Эдом, неплохим грузчиком, которого он прочил в будущем в мэнэджеры его, Джона, предприятия, его дела, его бизнеса. Он такой, Джон, он все будет иметь. Недаром он живет как спартанец, не пьет, не курит и, может быть, с женщинами на спит, считает, что это слишком разорительное занятие сейчас для него. Он все будет иметь, Джон, чего хочет. Только ненадолго, ибо вся эта эра кончается.

Я отпустил Катеньку, ссадил ее осторожно на пол и с ожесточением подумал, что не имею права расслабляться, что нужно держать себя крепко, иначе загнешься, а как узнал я из какого-то разговора между гостями Розанны, они обсуждали книгу "Жизнь после жизни" — самоубийство ничего не меняет, страдание остается, мертвый испытывает те же чувства, что живой. Я не хотел бы погрузиться в вечность в таком состоянии, как я сейчас. Убедили. Значит, нужно изживать. Потому я преувеличенно четко попросился с хозяином, Катеньку, сидящую на руках у папы, легонько потрогал по плечу, сказал "Гуд бай, бэби!" и вскочил на свое сидение, и мы поехали в темноте, время от времени разговаривая, время от времени замолкая. Был большой трафик, воскресенье, люди ехали из зон отдыха и потому мы попали в Манхэттан не скоро.

НОВАЯ ЕЛЕНА

Вы спросите, что же происходило с Еленой, пока Эдичка спал с черными ребятами, охотился на революционерок, злился на Розану и гулял по Нью-Йорку. Как она, Елена, и встречается ли Эдичка с ней хоть иногда в джунглях огромного города, нос к носу — два животных, узнавшие друг друга, фыркают.

Встречается он с ней, да. И ох он помнит эти встречи. Они начались медленно уже давно, но распространенными и запоминающимися они стали только в августе, незлобивом, все сглаживающем августе — мутный и волокнистый он лег на мой город, затащил его, приготавливая к противной осени и жестокой свинцовой зиме. Переходное время, господа. Пробовали идти дожди, испытывая свое влияние на меня. Природа убедилась, что я выдержу, хоть от дождей, издревле подвержен русский человек влиянию погоды, становилось сумрачнее и тоскливей. "Выдержит", — сказала природа и включила опять солнце.

У нас с апреля существуют с Еленой какие-то мелкие отношения. Нам необходимо время от времени встречаться, чтоб передать друг другу какие-то вещи или книги, вобщем, мелкие предметы переходят из рук в руки. Нормальные отношения между разошедшимися мужем и женой.

В тот раз день был хмурый и хуевый. Я получил свой чек в доме 1515, на Бродвее, потом пошел в банк на 8-ю авеню и там разменял чек на деньги, потом поплелся на 14-ю улицу, долго приценивался и наконец купил себе пару трусиков — синие и желтые, цвета национального украинского флага, хотел купить клубники и съесть ее, но стало жаль 89 центов, купил мороженное и пошел в отель.

Когда я пришел, то позвонил Александр и сказал, что будет ураган. Я ответил ему :

— Только ураган, а землетрясения не будет, одновременно со всемирным потопом и пожаром в шести штатах Новой Англии, включая еще штат Нью-Йорк.

— Нет, — сказал Александр, — увы, только ураган. Александр тоже хотелось, чтоб мир провалился к чертовой матери.

Позже позвонила Елена. — Я буду дома, — сказала она, — можешь придти и забрать книгу.

Под книгой подразумевался все тот же мой многострадальный "Национальный герой" — рукопись на английском языке, — переведенная уже может быть два года назад и нигде не напечатанная. Елена прекрасно знала эту мою вещь по-русски. "Национальный герой" был нужен ей, чтобы дать его прочитать новому любовнику — Джорджу, "экономисту", как она говорила. "Экономист" что-то делает на бирже и он миллионер. Так сказала Елена, я-то не знаю, правда ли это. Допустим. Он имеет дачу в Саутхэмптоне, где живут другие такие же миллионеры. По рассказам Елены выходит, что они там ни хуя не делают, только курят, нюхают кокаин, пьют, устраивают партии и ебутся, чему она, Елена, очень рада. Так ли это, я тоже не знаю. Во всяком случае, так говорит она.

Я пришел забрать. Жила она по приезде из Италии уже не у Золи, а сняла половину мастерской Сашки Жигулина, это там, где я встретился с еврейской мешаночкой, если помните, и этот ебаный экономист обещался вроде платить за мастерскую.

Когда иду к ней — всегда волнуясь, ничего не могу с собой сделать, волнуясь, как перед экзаменом в детстве. Пришел в клетчатой маленькой рубашечке, джинсовом жилете, джинсовых брюках, белые носки, туфли двух цветов — очень прелестные туфельки, а нашел на улице, и черный шарф на шее. Явился.

Встретила она меня необычайно прекрасной — в белом вздутом летнем платье до полу, красный шнур через лоб и шею — красивая блядь, что хоть возьми и убей. И как я, слабое существо, позволяю, чтоб ее кто-то ебал.

Мне становится неприятно от своего бессилия — я могу только наблюдать ее жизнь, не могу даже дать ей совет, она мой совет от меня не примет, я — бывший муж, этого не следует забывать. Я — прошлое, прошлое не может давать советы настоящему. И потом всяк волен испоганить свою жизнь так, как он хочет, а люди вроде нас с Еленой особенно способны испоганить свою жизнь.

Она способна. В ее первый и последний приезд в Харьков помню, как она, расстрогавшись зрелищем седой, толстой и сумасшедшей бывшей жены Анны, сняла с пальца кольцо с бриллиантами и одела ей. Та, тоже довольно экзальтированная особа, с наследственным безумием, недаром такими страшными и яркими были ее картины, с закатившимися глазами припала к руке Елены в поцелуе.

Мысли мои перелетают в Харьков, я живо вижу эту сцену, и вся моя злость, вспыхнувшая было, проходит. Может, и жить стоит только ради таких сцен. Не к себе, а от себя — это красиво. Потому я так ненавижу скупость и не люблю Розанну. Елена Сергеевна сучка, блядь, кто угодно, но способна на порывы, была. Эх ! У, горжусь теперь ей издалека, что мне еще остается.

Жигулины, и стар и млад, подымаются к сумасшедшему Сашеньке Зеленскому, который живет наверху. Мы остаемся с Еленой одни, у нее сегодня смирное настроение, и она мне начинает рассказывать, как она провела последний уикэнд в Саутхэмптоне.

Она тщеславна, что можно с ней поделаться... — И еще была там дочка одного миллиардера, ты должен знать, — она называет какую-то фамилию. Откуда я могу знать, получатель взлфэра, грузчик, подручный Джона, фамилию дочки миллиардера, эту дочку, не представляю. — Так вот эта девица, — продолжает Елена, — пришла с красивым парнем, потом мне сказали что это "жиголо" — человек, которого она купила, чтоб он изображал ее бой-френда...

— Так вот, этот парень все вертелся возле меня, а дочка миллиардера злилась. Она вообще пришла в тишотке, в грязных джинсах...

Я уныло думал, что бедная дочка миллиардера, может быть, некрасивая, что... Я до хуя чего думал, слушая ее рассказы.

— Но они мне все уже надоели, — продолжает Елена. — В воскресенье, ты же знаешь, был ужасный дождь, я одела плащ и гуляла одна по берегу моря, так было хорошо.

Я, Эдичка, по странному совпадению, переночевал у Валентина, утром в то же воскресенье ушел под дождем по берегу океана к станции собора Кони-Айленд. Не было ни одного живого существа. Я закатал брюки до колен, чтобы мокрая белая парусина не хлестала по ногам, и шел, порой по колено в воде. Были расклеванные чайками крабы и их части на песке, ракушки, человеческие предметы, перешедшие в ведение моря. Дождь. Какая-то смутная мелодия дрожала во мне, может быть, в мелодии этой был грустный смысл, что мир ничего не стоит, что все в этом мире чепуха и тление и вечные приходы и уходы серых волн, и только любовь, в моем теле сидящая, чем-то меня отличает от пейзажа...

Я скупно и просто сказал Елене, что тоже в это воскресенье гулял один по берегу моря.

— Да, — сказала она.

Потом мы пошли с ней покупать ей краску для волос. Она одела старые серые джинсы, которые мы ей купили, когда она еще жила со мной. Вообще у нее прибавилось мало вещей, как вы позже увидите. Или ее любовники не отличались щедростью, или она не умела вытаскивать из них деньги, или делала с ними любовь только из удовольствия делать любовь, не знаю.

Она одела эти джинсы и еще одела черный свитерок, взяла зонт, и мы пошли. Как в старые добрые времена. Хуячил сильный дождь, а мне было весело. Ведь шел-то с ней. Наши зонты соприкасались порой.

И в магазине на Мэдисон все на нас глазели — пришли немножко помятые девчонка и мальчишка что-то покупать. Она выбрала не только краску для волос, сумочку для косметики она выбирала полчаса, а я, господа, в это время наслаждался. Бог послал мне удовольствие. Наконец она выбрала сумочку. Потом она купила мыло, какой-то чепец для ванной и еще что-то. Она спросила, есть ли у меня с собой деньги. Я сказал: "Есть, есть!"

— Дай мне десятку, — я тебе потом отдам.

Я сказал, что ничего мне не нужно отдавать, у меня сейчас есть деньги, а у нее нет. Действительно, несколько работ подряд с Джоном принесли мне какие-то доллары.

Я любил всегда глядеть, как она копается в магазинах. Она в этом толк понимала, она знала, что ей нужно, но у бедненькой девочки всегда здесь в Америке не было вовсе денег. Я подумал, глядя на нее, как хорошо, что я ее не смог задушить, что она жива, и было бы ей в этом мире сухо и тепло — это главное. А то, что всякие мерзавцы суют в ее маленькую пипочку свои хуи, ну что же, она ведь этого хочет, это больно мне, но она ведь получает удовольствие. Вы думаете, я выебываюсь и делаю из себя Христа всепрошающего? Ни хуя подобного, это честно, я не стал бы врать, слишком гордый, мне больно, больно, но я всякий день говорю себе и внушаю:

"Относись к Елене, Эдичка, как Христос относился к Марии Магдалине и всем грешницам, нет, лучше относись. Прощай ей и блуд сегодняшний и ее приключения. Ну что ж — она такая, убеждал я себя. — Раз ты любишь ее — это длинное худое существо в застиранных джинсах, которое роется сейчас в духах и с важным видом нюхает их, отвинчивая пробки, раз ты любишь ее — любовь выше личной обиды. Она неразумная и злая и несчастная. Но ты же считаешь, что ты разумный и добрый — люби ее, не презирай. Смотри за ее жизнью — она не хочет — не лезь в ее жизнь, но когда можно и нужно — помогай. Помогай и не жди ничего взамен — не требуй ее возврата к тебе, за

то, что ты сможешь сделать. Любовь не требует благодарности и удовлетворения. Любовь сама — удовлетворение”.

Так учил я себя в этом парфюмерном магазине на Мэдисон авеню. Э, впоследствии не всегда конечно удавалось мне это, но с перерывами на злость и отвращение, я все больше и больше настраивался на это и теперь думаю, что люблю ее так.

— Для меня ее застиранные джинсики дороже всех благ этого мира, и предал бы я любое дело за эти тонкие ножки с полным отсутствием икр, — так думал я в парфюмерном магазине, пока это заинтересованное существо сгибалось и разгибалось над предметами и запахами.

Мы вернулись в вечно темную мастерскую, если б она была светлая, Жигулин платил бы за нее куда больше трех сотен долларов. Ничего хорошего в жизни в грязной мастерской для Елены не было. Если считать прекрасный дом агентства Золи за какой-то уровень, то Елена спустилась в мастерскую Жигулина. Что она не поделила с господином Золи, в чем состояла причина ее выдворения оттуда, не знаю. Вряд ли секс, господин, как говорят, педераст. Елена объясняла его недовольство тем, что она уехала из Милана, не дождавшись показа шоу, в котором она должна была участвовать. Ее поездка в Милан была совершенно безрезультатной для ее карьеры, и вообще, судя по всему, Золи уже не ставил на нее и не предсказывал ей блестящее будущее как модели. Друзья-недрузи Елены говорили мне по секрету, что Золи вообще мечтал отделаться от эксцентричной русской девушки, потому и сплавил ее в Милан. Когда она вернулась из Милана, то комната, в которой она жила, будто бы была занята. Не знаю, так говорят.

У Жигулина она занимала часть его студии, впрочем, это условно. Постель ее помещалась в нише, матрас лежал прямо на полу, дальше следовали подушки, и иногда я замечал на постели наше белье, которое она шила специально в Москве и которое привезла с собой. Мне приходится отворачиваться, когда я вижу это белье — ведь оно свидетель многочисленных сеансов любви с ней. Она не фетишистка, я же, гнусный фетишист, выбрасываю прошлые вещи, чтобы не плакать над ними. Ну вот я и отворачиваюсь. Мастерская Жигулина вообще музей, потому что там стоит и мой письменный стол с Лексингтон-авеню, и кресло, все это покупала Елена, когда я начал работать в газете, и кошка, белая тугоухая блядь, грязная или только что вымытая, вылезает порой откуда-то. Она все так же прожорлива и так же глупа. Вся мастерская Жигулина, он как-то незаметно затесался в мою жизнь, этот вообще неплохой парень, вся его мастерская пронизана силовыми нервными линиями, все в ней сталкивается, пересекается, визжит, происходят разряды. Иногда мне приходит в голову мысль, что если это только для меня так, а для Елены вдруг не так — спокойней и тише. Или вообще мастерская для нее — мертвая тишина. Тогда совсем хуево. Мы все склонны автоматически уподоблять других себе, а позже оказывается, что это далеко не так. Я уже уподоблял Елену себе — уже получил за это — красные от загара шрамы на левой руке будут до конца дней моих напоминать мне о неразумности уподобления.

Мы вернулись из парфюмерного рая с несколькими плодами. Я жалел, что у меня было мало денег с собой. Девочка моя, как видно, жила с хлеба на воду перебиваясь, заработки у модели, если она не крупная модель, а рядовая — ничтожны.

Захотелось есть. Она вынула из холодильника бутерброды с рыбой, она всегда ненавидела готовить, в нашей семье готовил я, официантом был тоже я, кроме того, я был ее секретарем, моей любимой поэтессы, перепечатывал ее стихи, шил и перешивал ей вещи, еще я был... в нашей семье у меня было много профессий. — Дурак, скажете вы, испортит бабу, теперь сам на себя пеняй !

Нет, я не испортит бабу, она такая была с Витечкой, богатым мужем вдвое старше ее, за которого она вышла замуж в 17 лет, она жила точно так же. Витечка готовил супчик, водил " мерседес " — был личным шофером, зарабатывал бедный художник деньги, а Елена Сергеевна в платье из страусовых перьев шла гулять с собакой и, проходя мимо

Ново-Девичьего монастыря, заходила вместе с белым пуделем в нишую, ослепительно солнечную комнатку к поэту Эдичке, это был я, господа, я разделял это существо и мы, выпив бутылку шампанского, а то и две, нищий поэт пил только шампанское в стране Архипелага Гулаг, выпив шампанского, мы предавались такой любви господа, что вам ни хуя не снилось. Королевский пудель — девочка Двоя, преждевременно скончавшаяся в 1974 году, смотрела с пола на нас с завистью и повизгивая...

Э, я не хочу вспоминать. Сейчас у нас на повестке дня Нью-Йорк, как говорил я сам, будучи когда-то председателем совета отряда и честным ребенком — пионером — на повестке дня Нью-Йорк. И только.

Мы слопали бутерброды с рыбой. Бывшим мужу и жене этого, конечно, было мало. У молодых худых мужчины и женщины были здоровые аппетиты. Я сказал, что мне хочется есть — пойдем, говорю — поедем куда-нибудь? Она говорит — пойдем, пойдем в итальянский ресторан, он тут недалеко, в "Пронто", я позвоню Карлосу. Почему, чтобы пойти в итальянский ресторан, нужно звонить Карлосу, я не понял, но не возражал. Я бы вынес сто Карлосов, ради удовольствия сидеть с ней в ресторане, может быть, она боялась идти со мной одним в ресторан, все-таки я едва не убил ее — были причины.

Недодушенная девочка стала звонить Карлосу. Это был довольно серый, на мой взгляд, тип — я его однажды видел здесь в мастерской, ординарная личность, ни хуя особенного, ни хуя интересного. Он не хера не делал, а денег у него было полно, как сказала Елена. — Откуда? Родители. Вот против такого положения вещей и будет направлена мировая революция. Трудящиеся — поэты и басбои, носильщики и электрики — не должны быть в неравном положении по сравнению с такими вот пиздюками. Оттого и мое негодование.

Она ничего не стала одевать, только припудрилась и опять красный витой шнур замотала вокруг лба и шеи, и как была в джинсиках и свитерке черном, пошла. Его еще, слава Богу, не было. Мы сели вправо от входа на возвышении — столик заняли на четырех, заказали красное вино, а она его выглядывала. У нее появилась эта глупая привычка — ждать и выглядывать кого-то. Раньше она никого не выглядывала.

— Я забыла тебе сказать, — вдруг произнесла она, — немного, как мне показалось, смутившись — это очень дорогой ресторан, у тебя есть деньги?

У меня было в кармане 150 долларов, если уж я шел с ней, я знал ее привычки. 150 — это хватит.

— Есть у меня деньги, не волнуйся, — сказал я.

Потом появился этот тип. Я не враждебен к нему, если б не Елена, на хуй он мне нужен, серая личность с чековой книжкой. Тех, кто сам вырвал деньги у этой жизни, можно хотя бы уважать за что-то, его, иждивенца своих родителей, за что было уважать. На хуй он попался на моей дороге.

Он пришел, короткие волосы, консервативно одет, это не мое выражение, я спиздил его у Елены и лесбиянки Сюзанны. Сел он рядом с ней, пожимал все время ручку моей душеньки. Мне это было неприятно, но что я мог сделать. "Тэйкэт изи бэби, тэйкэт изи!" — вспомнил я всплывшее выражение Криса. И стал спокойнее. Пожимает ручку и то обнимет за плечи, то уберет руку. Дело ясное, видно, мало дала или чуть дала и больше не дает ебаться, думал я с чудовищным хладнокровием, глядя на эту женщину, с которой вместе в ярко освещенной церкви был обвенчан по царскому обряду. "Злые люди будут стараться вас разлучить", — вспомнил я напутственные слова священника из его проповеди.

А, они ни о чем интересном не говорили. Я что-то для приличия у него спрашивал, как-то участвовал в беседе. Моя цель была сидеть рядом с ней.

Позже, выпив несколько графинов вина, в основном я и Елена, конечно, мы покинули обедавших в тепле и свете богатых людей и пошли в "Плейбой клуб" на 59-й улице. Это все было рядом, можно было выйти в тапочках из "Винслоу" и попасть в

иной мир. У Карлоса был билет "Плейбой" — конечно, он был плейбой, как же иначе. У входа стоял один зайчик, ему Карлос показал свой билет. На зайчиках были ушки да колготки, почти вся одежда. В глубине, в полутьме другие зайчики разносили напитки. Елена и Карлос провели меня по всем этажам клуба, показали провинциальному Эдичке злчное местечко. На каждом этаже был свой бар или ресторан, официанты в различной форме, картины и фотографии, полутьма, как я уже заметил, и тому подобное великолепие. В мягкой музыке, потягивая из огромного бокала свою водку — я по контрасту вспомнил своих недельных приятелей бродяг из района Бруклинского моста и засмеялся.

Мы сидели недалеко от танцевальной площадки, я тянул свою водку, как вдруг Елена неожиданно пригласила меня танцевать. Мы пошли. О, она блестяще танцует, мой ангел ебаный, как когда-то, будучи еще ее любимым мужем Эдичкой, спьяну назвал ее. Ей это прозвище нравилось тогда. Ангел ебаный.

Первый танец на страде еще были пары, и рядом с нами танцевали знаменитые зайчики. Потом мы танцевали почему-то одни. Хуй его знает почему, мы оказались одни, и мелькал свет, вдруг запечатлевая наши позы, и было восхитительно, ведь она была рядом, и мне казалось, что ничто не изменилось — не было крови и слез, и сейчас мы еще потанцуем, и обнявшись пойдем домой, и ляжем вместе.

Ни хуя подобного. Мы недолго там были. Карлос потащил нас к каким-то своим приятелям домой смотреть порнографические фильмы. Хозяину было лет пятьдесят, по виду он был похож на Тосика, одного нашего общего с Еленой знакомого дельца из Тбилиси, девка была молодая. Во время порно фильмов, где противные и вульгарные бабы радостно глотали сперму какого-то прыщавого кретина, моя душенька сидела почему-то на одном кресле с Карлосом, и он все время, по-моему, пытался схватить или обнять. Они сидели сзади меня, но даже по шуму, какой они производили, я понимал, что она стесняется меня и что он — Карлос — о ней не слишком высокого мнения.

— Считает девкой, — думал я, — а она все играет в королевы и игры обожания разводит. Приучил я ее, приучила Москва, Елена Прекрасная, Елена лучшая женщина в Москве, а раз в Москве, значит, в России. "Натали Гончарова". Она же не видит, какими глазами он на нее смотрит. Зеленский Сашенька, божий идиотик, втайне влюбленный в Елену, говорил не мне, конечно, а одному из наших приятелей, что встретил Елену, ведущую к себе мужчину. "Знаете, какими глазами он на нее смотрел? Мы все таскались с ней — Лена, Лена! Уж он-то знал ей цену — нашей Лене, отлично знал". Может, это был Карлос, откуда я, Эдичка, знаю, я не знаю ни хуя. У меня только боль, только боль.

Елена подошла ко мне после порно-грязи и сказала как бы оправдательно: — Карлос хотел посмотреть, какое у меня будет лицо, как я буду реагировать на эти фильмы. — Ну, ты как? — сказала она и вдруг погладила меня по волосам. О!

Как я был? Представьте себя свободного бандита, который привык реагировать на все просто и ясно — мне хотелось застрелить всех в доме и уехать с ней в ночь. Но ведь это была ее злая воля — ей и мне так вот жить. И я терпел.

Потом мы вышли. Он ловил такси, мы стояли с ней под колоннами дома, и она говорила, что я хорошо выгляжу, что я нашел свой стиль одежды. Я поблагодарил ее за вечер и за "Плейбой-клуб".

— Был ли ты в "Инфинитиве", это дискотека? — спросила она.

— Нет, — сказал я, — не был.

— Я тебя поведу, у меня есть членский билет туда, — сказала она, — вернее, это билет Джорджа, но неважно.

Лил дождь. Он остановил наконец машину. Мы поехали, она потребовала чтоб вначале мы отвезли ее. Мы отвезли, выходя, она поцеловала меня в губы. Когда в отеле я взглянул в зеркало, губы мои были в губной помаде. Я стер ее, а потом пожалел, что стер.

Через некоторое время была еще одна встреча, когда у нас произошло странное сближение, мы обнимались и целовались спяну, она была нежной и тихой. Это было на корабле, куда мы поехали компанией — и Жигулин с какой-то пышной девицей, и высушенная селедка Зеленский, и мы — экс-супруги.

Корабль стоял в неглубоком заливишке, потом владелец или наниматель его и он же устроитель парти некто Рег вывел свою посудину в более обширную лужу, поставил ее и там посередине этой лужи, все мы напились и накурились. Зачем мы это делали, никто не знал.

Хорошо ли я себя чувствовал? Вначале не очень. На мое счастье, во всей компании не оказалось человека, который мог бы ухаживать за Еленой. Два педераста — Марк и Пауль — старая супружеская пара, испытывали к ней скорее братские чувства. Она, все в тех же джинсиках и широкой лиловой блузе, рассказывала среди нас, рассказывала какие-то похабные анекдоты, обносила всех по очереди каким-то лекарством типа эфиро, зажимала нам сама ноздри и заставляла вдыхать. От одних ее пальцев, прижимающих мой нос, я уже находился в обморочном состоянии. Вообще она была веселая девка, "своя в доску", душа нашей немногочисленной компании, немножко сутуловато и смешно расхаживала среди нас моя красавица, а я был счастлив, что нет среди нас мужика, что никто за ней у меня на глазах не ухаживает, готов был расцеловать человека неопределенного пола — Рега, и никак не реагирующего ни на женщин, ни на мужчин его приятеля, который оказался специалистом по вождям революционных движений. Елена вначале не очень-то со мною и разговаривала, в середине же действия, когда я стоял на носу и смотрел в воду, она подошла и сказала:

— Этот корабль напоминает мне, помнишь, тот джазовый корабль, на котором мы путешествовали по Москве-реке, и мы еще тогда с тобой напились и подрались, и потом утром вылазили из каюты в окно.

Это было ее первое напоминание о нашем прошлом.

Дальнейшее происходило как бы в дымке и тумане. Немудрено, я налегал на алкоголь, и все время нюхал с ее помощью, впрочем, она обносила всех этим лекарством. И в конце момент, когда мы обнимались с ней, не знаю, сколько он продолжался, ускользнул от меня, я так теперь досадую и злюсь на себя, пьяного. Не выпил этот момент по капельке, не расчувствовал, помню только, что было нежно и очень тихо. Кажется, я сидел, а она стояла, и я гладил ее маленькую грудку под блузкой. Потом судьба в виде Жигулина развела нас по разным машинам, мы возвращались отдельно, помню свою страшную тоску по этому поводу.

Ну конечно, я ей позвонил после этого, стараясь что-то нащупать утерянное. Надеюсь на встречу с ней, специально купил какие-то туфли, мечтал о гвоздике в петлице моего белого костюма. Она была занята, а скорее всего, опомнилась от слабости, и я тоже, попереживав, подумал, что это лучше, что я не должен ни на что надеяться, иначе жизнь моя, Эдички, опять станет адом, а так она — полуад.

Через некоторое время она позвонила, впрочем, я уже не помню, может, я позвонил, и такая ли была хронологическая последовательность наших встреч, в каком порядке я их перечисляю, или другая. Кажется, я позвонил, и оказалось, что она больна, лежит в мастерской одна, Жигулин был в это время в Монреале, и хочет есть. Я купил ей каких-то продуктов, не помню чего, взял книги, которые она не очень-то и просила, просто вид этих книг вызывал воспоминания, а я не хотел воспоминаний, потому я отнес ей книги, я пришел — дверь была открыта.

— Почему не закрывешь? — сказал я ей.

— А, — она только махнула рукой, села в постели, на ней была полосатая, обтягивающая ее туго трикотажная пижама, и я сделал ей бутерброды, она фыркала, осталась недовольна сортом хлеба, не тот хлеб купил. "Ребенок, ебушийся ребенок, резиновая девочка", — подумал я, глядя на нее.

Покушав, она стала хвалиться. Какой-то ее любовник предложил ей пять миллионов за то, что она уедет и будет жить с ним. "Ох, Настасья Филипповна, — думал я, — неисправимая ты эксцентричная особа!"

— Он был бедным, когда со мной познакомился, — продолжала Елена. — Я сказала ему, что нечего мне с ним с бедным разговаривать. Он уехал куда-то, а сейчас вернулся и предложил мне пять миллионов, он заработал их на кокаине.

Женщина, которой предлагали пять миллионов, лежала в своей нише, матрас лежал прямо на полу, холодильник был пуст и даже не включен, грязь и вечный полумрак наполняли мастерскую, и почему-то не нашлось никого, кроме меня, принести ей поесть. Наверное, так совпало.

— Я отказалась! — продолжала она хвалиться перед Эдичкой.

Почему? — спросил Эдичка, — ведь ты же всегда хотела денег?

— А ну его, с ним нужно быть всегда на наркотиках, он сильный человек, а я нет, я не хочу превратиться через пару лет в старуху. Да еще его всегда могут посадить, имущество конфискуют. И я не хотела уезжать с ним из Нью-Йорка, он мне не нравится.

"Как Шурик на апельсинах и анаше, так он на кокаине заработал деньги — думал я меланхолически. — Поехал Шурик из Харькова в город Баку, купил там апельсины и анашу. Не кокаин, но наркотик. Прилетел в Москву, и продал все во много раз дороже. Деньги взял — в Харьков вернулся, и деньги принес Вике Кулигиной — бляди. Хорошая была баба. Старая уже сейчас, наверное. С талантом была. Стихи писала. Спилась.

Вот параллель. Елена — Вика. Она ведь не знает. Ведь Вику видел только я. Смешала весь мир. Шурики, Карлосы. Кокаин. Хаос все это, жизненный хаос..."

Последний раз я от встречи с ней заработал жуткий психический припадок. Я сам виноват, она тут не при чем, вела она себя нормально, ничем меня к припадку не побуждала.

Позвонила она мне утром и сказала, у нее всегда становится тоненьким и без того тонкий голосок, когда волнуется: — Эд, ты хочешь пойти на мое шоу, это будет сегодня в три часа.?

Я сказал: — Конечно, Лена, я буду очень рад!

— Запиши адрес, — сказала сна, — Между 26-й и 27-й улицами, на 7-й авеню, Фешен институт технологий, сэкснд флор, Эдиториал.

Я пришел. Я волновался. Специально купил новые духи, надел свой лучший, белый костюм, черную рубашку с кружевами, крестик под горло подтянул. Автобус ехал жутко медленно, и я нервничал уже заранее, боясь опоздать.

Я не опоздал, нашел этот зал в огромном помещении института, все передние места были заняты, я уселся на свободное место где-то сзади и стал ждать. На сцене был создан садик или скверик или парк, особым образом размещенные растения, особым образом помещенный свет. Возле сцены возлились осветители и фотографы, создавая атмосферу тревожного ожидания. Я ждал.

Наконец зазвучала пронзительная, странная для моего слуха музыка. Может быть, она только показалась мне странной, потому как очень уже давно я не находился в подобном большом собрании, с людьми, давно не видел никаких представлений, за исключением кино я никуда не ходил, одичал я.

И вышли, и застыли в различных позах, а потом загалдели, зашумели, изображая осеннее оживление, девочки. Лошадки, старлетки, модели, все они были на первый взгляд похожи друг на друга и только позже, напрягая глаза, я научился с грехом пополам различать их. Худые, затравленные и наученные особым штукам дети женского пола ходили под музыку по сцене, выходили на "язык", вертелись на его кончике, выбрасывая зрителям улыбку или ужимку или нарочито сумрачное лицо и так же удалялись. Мне почему-то было жалко их, и сжималось сердце при каждом взгляде на них, особенно же было жалко короткоостриженных. Может быть, потому, что маленькие

личики их без преувеличения были лицами детей, перенесших только что тяжелую болезнь. Господи, и здоровые мужики мнут этих детей, мнут их, ебут, напирают, вдавливают в них свой хуй. Я затосковал и только усилием воли заставил себя собраться и глядеть на сцену.

Между тем появилась и Елена. Она излишне нервничала и вертелась. Первый костюм ее я не запомнил, потому что разглядел ее под шляпой не сразу, когда же понял, что моя душенька, она уже мелькнула личиком и исчезла за кулисами. Второй ее костюм был нечто лиловое и ниспадающее, можно было назвать это платьем, но можно было и не называть. Сверхнув из-под шляпы глазами, Елена сорвала в нем аплодисменты зрителей.

Вообще же она выступала хуже других девочек. Хотя мне и не хочется это признавать, она была излишне вертлява, от волнения развязна и несобрана, среди ее подруг было несколько профессионалок очень высокого класса, они работали четко и механично, движения их были сухи и отточены, никаких мелких ненужных дополнительных складок на их одежде не появлялось, они демонстрировали чистоту стиля и чистоту каждого движения. Ничего лишнего не было, в нужное время резкое движение лицом, подбородок вверх, все вовремя и четко.

Елена же слишком танцевала, кокетничала, слишком увлеклась самодеятельностью, играла и переигрывала, суетилась, двигалась нечисто.

Если говорить о красоте, как женщина, она на мой, Эдичкин необъективный взгляд была куда более привлекательна, чем другие модели, весь остальной кордебалет. Но работала непрофессионально, это было видно.

Судите сами — появляется она в белом таком костюмчике из парусины, с капюшоном, и белые сапожки, в таком, знаете, костюмчике хорошо грибы после дождя собирать где-нибудь в Коннетикуте, выйдя из дверей своей виллы, молодой и бездельной женщине. Так она появляется в этом костюмчике, танцует под музыку на сцене, как бы собирает грибы или ягоды, если грибов в Америке не собирают, и получается неплохо, кое-кто аплодирует. Но потом, продвинувшись на язык, уже на конце его, именно там, где нужно себя показать крупным планом, Елена вдруг быстро кружится, движения скомканы, теряют четкость, так что мы, зрители, не успеваем даже рассмотреть ее лицо, мелькают смазанные Еленины черты, ее не ее — не поймешь, и она смывается с языка. Она даже не зафиксировала на мгновение своего лица, не сумела его подать, остановить на время — преподнести. Нет, она выступала непрофессионально. Аплодисменты утасли, не успев начаться.

В конце были шары, шествие, музыка, шум, спутанные ленты — тут она была в своем репертуаре — цирковое искусство для нее. Она запуталась в шарах, махала шляпой и прочее, это у нее хорошо получалось. Я был недоволен ею, мне хотелось, чтоб она во всем была первая.

Я поторчал немного в зале, а потом вышел и стал ждать ее. Многие девочки, которых встечали или любовники, или друзья, или они уходили одни — были, кажется, и такие худые и дерзкие девочки, уже прошли, а Елены все не было. Наконец она показалась — была она в белой шляпе и каком-то коричневом в цветах легком костюмчике — блузка и юбка, потом я рассмотрел, что он был старенький, и в туфлях коричневых, тоже стареньких, ножки затянуты в какие-то мутные колготки. Я подошел к ней и поцеловал ее, решился трусливый Эдичка поцеловать ее, поздравил, заметив, что краска на ее щеках лежит как-то несвеже, коркой. Вид у нее был усталый.

— Спасибо, — сказал я, — мне понравилось, только ты излишне торопилась. Было видно, что тебе некогда.

Так я сказал, не мог же я сказать, что мне не понравилось, как она выступила, я не хотел ее обижать. Тут же стоял и рассеяннo-растерянный Жигулин с фотоаппаратом, который, конечно, только пришел и ничего не видел.

— Не могу понять, где Джордж, — нервно оглядываясь по сторонам, говорила Елена. — Он был в зале, а где он теперь ?

Она очень нервничала, на хуй ей был нужен ее верный пес Эдичка, который приполз бы весь в крови, если б она позвала. Ей нужен был Джордж, которого не было. Эдичка был благородный рыцарь, он не вапомнил Елене ее слов, что она никого не любит, что ей все безразличны. От друзей Елены Эдичка хорошо знал, что на последний уикэнд Джордж уже не пригласил Елену в Саутхэмптон, что в его доме Елена нашла какие-то тампаксы, явно другой женщины, что Джордж, ранее обещавший купить Елене шубу, теперь уже собирался купить ей просто пальто. И что до сих пор он ни разу не заплатил пока за мастерскую Жигулину, как обещал это делать. Циник хромоногий и жлоб, играет с ней, как с мышью.

Эдичка смолчал и только сказал участливо: — Может он в холле, пойдём посмотрим? — и пошел с Еленой в холл.

Конечно, никакого Джорджа в холле и в видах не было. Она не плакала, может, она не умеет плакать, я не знаю, в последний раз я видел ее слезы, когда душил ее, пытался задушить.

Я сказал, что хорошо бы Еленино выступление обмыть по русскому обычаю и что предлагаю им пойти куда-нибудь выпить, что я их угошаю. При этом Эдичка извинился, что не принес Елене цветов, у меня не было на это времени, так я мчался к ней, а потом я думал, не рассердится ли она, может быть, по местным понятиям это нелепо — дарить цветы модели, участвовавшей в шоу. Может быть, это провинциально.

В конце концов мы пошли вдвоем в бар, Жигулин не пошел. Мы сидели, пили, и она объясняла мне свою достаточно безумную идею о каких-то рулонах ткани, в которые она хочет заворачиваться, чтобы таким образом сделать платье, и еще какие-то прожекты из этой же ткани — шить должен был я. Я пусть и сам не ахти какой нормальный парень, но понимал, что это тоже форма охуения от западной жизни — желание Елены перескочить через деньги — легко и просто иметь таким образом платья да еще и в дизайнеры поиграть. Я понимал, что эта детская затея безумна и ни хуя из этого не выйдет, но я соглашался, я боялся ее обидеть или вызвать ее гнев.

— Сейчас поедем, и я тебе покажу ткани, они у меня в мастерской, — говорила Елена, — ты поможешь мне завернуться, мне нужно идти сегодня с Джорджем в театр, а мне так надоели старые платья.

— Слушай, давай я дам тебе денег и ты купишь себе платье, — сказал я.

— Ну вот еще... — сказала она неуверенно.

— Чего там, Лена, — сказал я, — мы старые друзья, когда станешь великой моделью, поможешь мне.

— А сколько у тебя денег с собой? — спросила она заинтересованно.

— Да долларов сто будет — сказал я.

Она на секунду задумалась.

— Допивай, — сказала она, — поедем в Блумингдэйл, посмотрим, что там есть.

И она опрокинула свой алкоголь одним движением. В этот момент нам подали какие-то сосиски и что-то типа тефтелей на блюдечке. Может, так полагалось. Она попробовала одну, а одну, взяв за палочку, на которую она была наколота, сунула мне в рот. Особого рода внимание, ласка. Я расплатился, дал бармену на чай так много, что он заулыбался от удовольствия, и мы вышли.

Ехали мы в такси очень долго, был трафик, и едва ли не быстрее мы могли дойти пешком, она очень нервничала, пыталась выйти раньше, я успокаивал ее.

— Нет, я куплю себе туфли, — сказала она, — когда мы выходили из машины, я приспособлю как-нибудь эту ткань, а вот туфель в меня нет. Я сказал, что это ее дело и что я лично советую ей купить крупную вещь, чтобы была большая по объему, заметная, — сказал я.

Мы прошествовали на рынках через Блумингдэйл, влетели в нужный отдел, и она занялась своей любимой работой. О, она большой знаток в этом деле. Я жалел, что у меня нет миллиона, я хотел бы посмотреть на нее, выбирающую вещей на миллион долларов. Уверять вас, она нашла бы что купить.

На сей раз, как это ни странно, туфли, которые она купила через 30 минут, указал ей я. Это были черные туфли на высоком тонком каблучке с золотым ободочком. Она померила эти туфли, потом потащила сейлсвумен в другой отдел что-то мерила там, потом вернулась, надела два разных туфля на ноги, прошла, посмотрела и остановилась все-таки на тех, что указал ей я. Прodelав утомительную, в Блумингдэйле не торопились, процедуру оплаты; туфли стоили 57 долларов, мы вышли и прошли по другим отделам. Я не знаю, как мы оказались у белья, она уже рассматривала трусики в рюшах, оборках и цветах. "Тебе нравятся?" — обращалась она ко мне все время. "С некоторых пор мне страшно смотреть на женское белье", — сказал я ей. Она пропустила мое высказывание мимо ушей. Чего ей меня слушать, на хуй ей мои проблемы. И я опять заткнулся, хотя так хотелось договорить.

Мы купили ей некоторое количество трусиков, еще какие-то мелочи и пошли в мастерскую.

Там она тотчас разделась в ванной, вышла в одних колготках прямо на голое тело, без трусиков, так носят модели на показах, чтобы трусики не вдавливали бедра, треугольник волосиков возле пипки взглянул на Эдичку иронически. Гологрудая и голополая под колготками Елена вышла в новых туфлях.

Я не думаю, чтобы она специально мучила бедного Эдичку, она просто о нем не думала, она привыкла так ходить среди фотографов, среди персонала, и не собиралась менять свои привычки. Эдичка увидит ее голой и затоскует? А хуй с ним!

Я вспомнил ее слова "Ты — ничтожество!", сказанные мне в феврале по телефону. "Нет в моем сердце злобы!" — сказал я себе для успокоения, "Как Христос Марию Магдалину!" продолжал я про себя. Помогло.

И вдруг меня осенило. — Господи, да она не знает, что нужно делать со всеми нами, с людьми, с Витечками, с Эдичками, Жананами... Употребить в сексе, взять деньги, сделать, чтобы мы повели в ресторан. Вот все, что можно с нами делать. Она невинна как дитя, ибо не знает, как еще можно применить нас. Ее не научили. В остальном мы ей мешаем. Она мечтала, когда жила с Виктором, мечтала со мной, мечтает сейчас. Ей все равно, кто с ней. Она не видит. Мне от этого открытия стало страшно.

Она о любви не знает. Не знает, что можно кого-то любить, жалеть, спасать, из тюрьмы вырывать, из болезни, по голове погладить, горло в шарф укутать, или как в евангелии — ноги вымыть и волосами своими высушить. О любви — Божеском даре человеку — ей никто не сказал. Книжки читая, она это пропускала. Скотская любовь ей доступна, чего тут хитрого. Она думает, это все. Потому она всегда так тосковала в своих тетрадках, я их всегда читал, так беспомощно мутно воспринимала и воспринимает мир.

Может, ей еще повезет, и она полюбит. И будет ей тяжело и прекрасно. Я завидую тому, на кого наконец изольется любовь этого несчастного существа. Ему достанется многое. В ней столько, должно быть, накопилось. Но скорее всего, никогда не испытает она счастья отдания всего себя — души своей другому существу, сладкой боли от этого противоестественного для животного, каким является человек, поступка.

В этом мире многие, как она, несчастны, только по причине неумения любить, любить другое существо. Бедные вы, бедные! Распадающийся Эдичка все же был счастлив, в нем, в больном есть Любовь, позавидуйте ему, господа!

Так я размышлял, а она крутила попкой, в этот момент пришел Жигулин.

— Эдичка туфельки купил, — сказала она.

— Мне не купишь? — спросил меня заинтересованно Жигулин.

— Лена, тебе уже нужно уходить, а ты еще обещала сходить со мной в бар, — сказал

я, не отвечая Жигулину.

— Успеем, — сказала она, — сейчас приму душ и пойдем в бар.

Приняла душ, и мы стали заворачиваться. Это было ужасно глупо, она опять в том же голом виде, я заворачивающий ее дрожащими руками в лиловую, потом черную и желтую прозрачные ткани. Это была хуйня, она поняла, но сказала, что мы не умеем заворачивать, ни я, ни она. Конечно, откуда тут уметь, мы же не индийцы.

Она решила одеть лиловое платье, я был посажен подшить ей подол этого платья. Подшил, что делать. Я все умею, это очень хуево. Наконец, дав Жигулину наказ послать хромоногую "экономиста" в бар вниз, она спустилась со мной. Мой белый пиджак был расстегнут, она в лиловом причудливом платье, в туфлях, которые я ей купил, с длинным мундштуком в руке — красивая, соблазнительная. Можно было подумать — богатые люди, муж с женой или любовники — преуспевающий Эдичка и купленная этим преуспевающим Эдичкой красotka Елена спустились в бар.

Она заказала себе коньяк, я виски — Джей энд Би, пьем — эффектные люди, я уже начал входить в роль, но она сбивала меня, все время выглядывала через стекло на улицу и вдруг сорвалась — вышла, что вышла, выбежала и вернулась с кем-то морщинистым и усатым, что-то желтое было в моих глазах короткое время. Познакомила и тотчас ушли, мое лиловое видение удалилось. Джордж его зовут. Знаем, что Джордж.

Бармен-японец видел, бармен понял. Как ножом по сердцу полоснули, почему все в этот момент вспыхнуло, все !

А как бы вы себя чувствовали в этом баре на 54-й Ист, на 58 улице, если бы любовь вашу уводил богатый человек, только потому что он богатый, а вы бы оставались на табурете, пить ваше Джей энд Би и корчить из себя заезжего иностранца ? Ебанный в рот ! Вся ненависть к этому миру, моя личная ненависть талантливого храброго Эдички, маленького мускусного зверька, горькая и тоскливая ненависть, не могущая найти выход, тотчас была в моих глазах.

Не забывайте, в какой среде я рос и сформировался. В среде, где любовь и кровь стояли рядом, измена была чуть впереди слова нож, я сидел на табурете и думал, что ребята мои, друзья мои, гниющие по лагерям за уголовные преступления, бандиты и воры из Харькова, сейчас презирают меня, как жалкую тряпку. " Увели ее, а ты, блядь, фраеру даже нож под ребра не пустил, ее ебут все кому не лень, она сосет у них у всех хуи, а ты, блядь, душу свою позволил загадить, мудака, труса, интеллигент хуев ! "

Так говорили мои ребята, страшно и откровенно говорили, со своей колокольни они были правы, вообще они были правы, я должен был ее резать по их и моему кодексу, если я ее любил. А я ее любил.

Эдичка молчал, что он мог сказать ребятам. Что это ее злая воля, что причем тут хромоногий или причем тут Жан...

Когда в бар вошел Кирилл, это было спустя пол часа, ему сказал Жигулин, что я тут сижу с Еленой, он впоследствии сказал — " У тебя были такие глаза, как будто только что на твоих глазах моему любимому ребенку проткнули раскаленным прутот голову ". Он, Кирилл, любит выражаться витиевато, но очевидно это было так.

Я пил, когда он вошел не то шестое, не то седьмое Джей энд Би, я заказал и ему того же, или, может быть, это было Вайт Лейбл, не знаю, но мы выпили и пошли оттуда еще в другое место, и я уж почти ничего не помню дальше. Кирилл впоследствии говорил, что мы были в нескольких барах, что из одного нас выставили, что я купался в фонтане, раздевшись, что я влез на какую-то скульптуру и прыгнул оттуда, что я корчил из себя бандита, атамана, и конечно все это было подсознание.

Он ночевал в отеле, а утром мы с ним поскандалили. Пытаясь снять контактные линзы с глаз, я обнаружил, что их у меня на глазах нет. Хуй с ними с линзами, хуй с ними с 220 долларами, столько уже потеряно, что это не потеря, — сказал я Кириллу. Он, очевидно, заразился от меня внутренней истерикой, потому что стал меня истязать рассказами о том, как я вел себя.

— Ты был отвратителен, — говорил Кирилл с каким-то злобным упоением, — ты бросался под машины, ты снял туфли и шел босиком, у тебя было гнусное лицо.

Все это Кирилл высказывал стоя надо мной лежащим на кровати лицом к стене. Удовольствие, когда вас в восемь часов утра доебывают, у вас и без этого мир, как грязная яма для нечистот, а тут еще вас обличают.

— Отстань от меня, — говорил я устало, — что тебе нужно от старого больного человека, зачем ты мне все это рассказываешь?!...

Он кричал: — Я набью этой проститутке морду, почему она берет у тебя деньги, пусть ей дадут деньги те, у кого она сосет хуй! — Трусики ты ей купил, дурак, блядь! Джордж Жан, еще один фотограф и Жигулин вытирают твоими трусиками хуи, со всеми с ними она ебется сейчас! Мне звонил Жан, хвалился, опять два раза выбебал Елену!...

Так он орал, и я его выгнал. Он ушел, а я погрузился в идиотское страшное состояние, то выныривал из мрака, то опять в него погружался. Выныривая, я пил воду, ложился опять, думал нескончаемо о Елене, о том что мне, Эдичке, не хуй жить на свете такому, как я есть.

Так я пролежал до двенадцати часов и затем пошел в душ, думая отправиться на восьмое авеню и взять проститутку. Это должно было меня успокоить. Не можешь умереть — надо жить. Я уже совсем было собрался, я знал даже кого именно я возьму на восьмой авеню, какую девочку, как вдруг зазвонил телефон. Произошло это, когда я вложил десятку в один мой карман, а другую десятку в другой — такая у меня манера. После любви я собирался повести проститутку в бар, мне нужно было с кем-то выпить.

Зазвонил телефон, и из трубки на меня излился голос моей любимой. Любимая предлагала мне явиться к ней немедленно для осуществления ее безумных проектов. Раз требует — нужно идти. С проституткой придется повременить. Эдичикин хуй подождет. С самоубийством тоже. Нужно кроить Леночке ее прозрачные ткани. Взяв едва начатую, неизвестно откуда взявшуюся бутылку виски, я отправился к даме сердца.

Дама сердца перед кройкой планировала поход в Блумингдэйл для покупки ниток, поясов, заколок, молний и прочего барахла. Я отправился с ней, я купил ей меховые тапочки, которые ей понравились, опять покупались трусики и еще что-то. Когда мы вышли, у меня не было ни сента, а у нее от ее двадцати долларов тоже не осталось ничего, на последние трусики мы собирали даймы и котеры. Трусики были красные. Я с тоской подумал о проститутке, больше у меня не было денег. Вы думаете, я о чем-нибудь жалел? Еще чего, я всегда исполняю свои прихоти, девочка ведь радовалась трусикам. Мне и было приятно.

Жигулин и его гость, встретившие нас в мастерской, не оценили трусиков. Мужлань, что они могли понимать в красных трусиках. Только со мной Елена могла поговорить об этом, только со мной. Мы еще пили, пиздели о том, о сем. После нескольких хороших порций виски у меня совсем отпала охота что-либо кроить или шить. Но охуевая, обливаясь потом, я все же занялся этим.

Освободил от их предметов стол, разложил ткань и стал мудрить над ней. Меня очень тянуло лечь, поспать, здесь, где ходила она, был Жигулин, была кошка, я был спокоен заснул и без кошмаров, в ее постели, например. Но у меня не хватило духу попросить этого. Вполне возможно, она и согласилась бы. Я же не с ней, я без нее просился.

Я возился возле ткани, она в жигулинском секторе пиздела по телефону, и это постепенно начало меня раздражать. Могла бы хоть для приличия со мной посидеть, пока я работаю, — думал я. Куда посидеть, она вскоре, надвинув красную шляпу, и вовсе свалила. Иду работать — сказала она. Вся ее работа, чего она стоила, у нее не было ни сента.

Она ушла, Жигулин копался с лампами, а Эдичка, тотчас обрадовавшись, что нет контроля, забросил кройку и быстренько сориентировался, нашел себе дело. Он спиздил с

полки с ее книгами подозрительную черную тетрадь, открыл ее и увидел записи Елены. Эдичка знал эти тетради ее, когда-то он сам дарил ей такие тетради. Эта была самая незаполненная, почти чистая. Эдичка сунул тетрадь под полу пиджака и, пройдя мимо Жигулина, вошел в туалет, закрыл за собой дверь, и усевшись на край ванной, с замиранием сердца стал читать.

Там была мутность. Хорошее это слово, я его люблю — оно хорошо выражает ее записи. Отдельные выражения, как будто бы относящиеся ко мне: "За что ты любишь меня", "Какие силы управляют мной". Там были трава, деревья, упоминался Джордж, который "Джордж был, Джордж плыл", и еще что-то делал.

Мутность, мутность и мутность. Какие-то завтраки с королем. Все куда хуже, чем было, не стихи, а каша полубессвязных предложений, предмет которых в основном самообожание. Что-то об отеле в Милане, где у нее нет денег, по этому поводу мысли о смерти и опять муть, мутность, тяжелые испарения безлюбой души.

Но вдруг я наткнулся на такую запись "... и перед тобой Эдка я виновата. Бедный, бедный мой мальчик ! И Бог меня накажет, ведь еще в детстве я прочла сказку, где были слова — ты ответственен в жизни за всех, кого ты приручил "...

Я прочел это, и мне стало до слез жалко мою девочку. Когда она это писала, очевидно, в Милане. Бедное существо, тебе плохо оттого, что не знаешь ты о существовании любви. Несчастная моя, сделавшая несчастным меня, разве я виню тебя ! Виноват отвратительный безлюбой мир, а не ты.

Жигулин просился в ванную. Я собрался с силами, вышел из ванной, говорил с Жигулиным, пил опять виски и думал о ней. Она, оказывается, почти все понимает. Что же заставило ее убить бедного мальчика ? Невразумительное требование природы иметь многих самцов ? Я не знал. Я тогда все-таки выкроил ей брюки из ее безумной ткани — потом взял выкроенное и ушел в свой отель...

Одна из последних по времени встреч с новой Еленой была поэтической и грустной. Я позвонил, она сказала странным темным голосом: "Приходи, только быстрее". У нас была предварительная договоренность о встрече, я должен был взять у нее оставшиеся безумные ткани. Я пришел, она была в слезах, едва сдерживала новые слезы, сидела она на кровати и рассматривала кучу старых фотографий своего детства, их только что прислал ей из Москвы отец. Она всхлипывала, затянута в черные брюки и красную блузку, это была та самая красная блузка, в которой она наглой и самоуверенной, в феврале, она не ночевала дома, явившись утром, поощрительно говорила мне, что я не умею наслаждаться — мне, обезумевшему от горя человеку. Теперь, через полгода она ревела передо мной в этой же блузке. "Еще и блузки не успела износить", — мелькнул во мне поэтический образ. Она этих деталей, конечно, не замечает. Только я, пристальный наблюдатель, внимательный ученый, издавающийся над собой тонкий Эдичка, помню все эти тряпки, блузки, вещички и фотографии.

— Хочешь посмотреть ? — сказала она сквозь слезы.

— Хочу, — сказал я, — только ты не плачь, чего ты плачешь — есть какая причина ?

— А что хорошего, — всхлинула она, — все хуево, работа, работа и работа. Если б я родилась здесь, мне было бы легче. Я же женщина, а не мужик, — прорыла она. — Я устала !

Я подумал, что вот я по половым признакам мужик, но еб твою мать, уверен, что ни одна женщина таких мук не испытывала и не испытает. Вы уже знаете, некоторое мое презрение к женщинам распространялось уже и на Елену. Однако я жалел ее, я не видел в ней неудачливую модель, запутавшуюся женщину, как было на самом деле. Я видел девочку из деревянного Томилинского дома, лукавую таинственную девочку, и девочки этой на всей земле был достоин единственно я, больше никто, господа, я в этом уверен.

Рашен мадел Елены был вполне достоин Джордж, Жан был пониже, но и он был ее

достоин. А вот этой девочки с косой в белых чулочках, стоящую в своем саду, а сзади, как декорации в опере на пасторальную тему — березки, кусты, кусок деревянного дома, был достоин только я. Девочка мечтала о принце, как многие девочки в России, и наверное здесь тоже. Но когда принц Эдичка приходит, вмешивается в дело зло, хаос ведь ненавидит любовь, он шепчет девочке, что это не принц, принцы не живут в лексингтоновских квартирах и не ходят утром на работу в эмигрантскую газету, шепчет хаос — это не он! — шепчет хаос.

Эдичка изгоняется, и идут унижаться к Джорджам и последующим в очереди господам. Так я размышлял, разглядывая ее фотографии. Это тоже было болезненное занятие, господа, ничего хорошего.

— Только не воруй фотографии, — говорила она сквозь слезы, протягивая мне очередную пачку.

— Почему нет, — сказал я, — все равно растеряешь или украдут. Впрочем, не бойся, воровать не стану.

Она между тем встала и принялась что-то искать. Вдруг она заревела громко. — Еб твою мать, — говорила она, — чего я живу в этом мерзком грязном доме, где моя книжка, уже спиздили, здесь все крадут и тащат. И чего я такая несчастная.

Плача она взялась мыть посуду. Я попробовал подойти и дотронулся до ее плеча. "Успокойся!" — сказал я. Она стряхнула мою руку. Бойтся сближения. Дура! Я хотел ее успокоить. Думает, мне приятно смотреть на нее плачущую. Зверюга несчастная! Одинокая зверюга, думающая из случайных ласк соорудить себе счастье. Чего ж ревет-то теперь, ведь хотела быть одинокой зверюгой.

— Брось плакать, — сказал я ей растерянно, — все будет хорошо.

— Ты всегда говоришь, что все будет хорошо! — сказала она зло сквозь слезы.

Э, когда-то я умел ее успокаивать. И гнев ее и слезы. Теперь я не мог применить те спредства. Я только сказал: — Хочешь, спустимся в бар, выпьем, расслабишься, будет легче тебе.

— Я не могу, — сказала она, — мне нужно уходить, за мной сейчас заедет Джордж, мы должны ехать к знаменитому дизайнеру. Она назвала имя. Жигулин, сволочь, не захотел ехать, он сказал "Мне некого там ебать, ты будешь ебаться с Джорджем, а для меня там нет женщины". Мы не ебаться едем, мне сниматься нужно, работать едем.

Это было уже смешно, но она всхлипывала. Она всхлипывала.

Зазвонил телефон. Это звонил ее экономист. Я слышал, что она все время повторяла ему сквозь слезы: "Это ужасно, это ужасно!"

Я подумал, что какая же он сволочь, не может, видя, как она мучается без квартиры, живя в этом проходном дворе, какая же он сволочь — миллионер, не может снять ей квартиру, чтобы она пожила там, отдохнула, выспалась нормально. Ведь для него это как мне сент на мостовую выбросить. "Он циничный и умный", — говорил о нем Жигулин, говорили другие. Циничный и умный мужчина, а где же ваша доброта? И хуля все стоит в этом мире без доброты?

Для меня он был невыносимое дерьмо, потому что он не помогал ей жить, он использовал ее. Она была одна в этом городе, меня что считать, я для нее не существовал, потому ничем не мог помочь, она была одна, ей было холодно, хуево, у нее не было даже пальто, а он, хромя своей ногой, молчал.

Если бы он заботился о ней, я бы его уважал и относился бы к нему хорошо. Это было проверено на Витенке — предыдущем муже Елены. Он любил ее, возился с ней, как с ребенком, это меня всегда обезоруживало. Как видите, Эдичка справедлив.

Он впolz в мастерскую минут через десять, где-то недалеко был. Мы вяло поздоровались. Елена надела черную маленькую шляпку и ушла с невысохшими слезами, попросив меня посидеть в мастерской, дожидаться какую-то ее подругу. Я посидел, покурил, дождался тоненькой, похожей на стареющего пажа подруги и, взяв лиловую и красную ткани, они играли через полупрозрачный мешок всеми цветами радуги, вышел.

ЭПИЛОГ

Я сижу на своем балкончике на облупленном стуле при сонном свете октябрьского солнца и рассматриваю уже старый, летний журнал, я выудил его в мусорном баке, и принес к себе номер для практики английского языка.

Вот они, те кто вел себя примерно в этом мире, его отличники и хорошие ученики. Вот они, те кто заработал свои деньги. Он, усевшись упитанной жопой на край бассейна — бассейн отливает голубым. Она, худая с лошадиным слезка, по моде, лицом, в купальнике держит в руке стакан кампари. Его стакан стоит рядом с ним на краю бассейна.

Надпись гласит :

" Вы имеете длинный жаркий день вокруг бассейна и вы склонны, готовы иметь Ваш обычный любимый летний напиток.

Но сегодня Вы чувствуете желание заколеться. Итак, вы делаете кое-что другое. Вы имеете Кампари и Орандждрус взамен..."

Я никогда не имел длинного жаркого дня вокруг бассейна. Признаюсь, что никогда в жизни не купался в бассейне. Я имел вчера холодное отвратительное утро возле Вэлфэр-центра на 14 улице. У закрытых дверей в две стороны стояли очереди скорчившихся от утреннего холода вэлфэровцев.

Шесть часов провел я в Вэлфэр-центре в тот день... Бассейн... Хорошо бы как-нибудь сподобиться и выкупаться в бассейне. Когда-нибудь в длинный жаркий день я это сделаю. И выпью кампари с орандждрусом.

Вы думаете, я никогда не тоскую о рабстве. Тоже тоскую иногда. О белом доме под деревьями, о большой семье, о бабушке, дедушке, отце и матери, о жене и детях. О работе, которая купит меня всего с головой, но взамен я буду иметь чудесный дом с лужайкой, с цветами, со множеством домашних машин, улыбающуюся чистенькую жену — американку, конопатого, в веснушках, измазанного вареньем сына в футбольных бутсах...

Но что мечтать, бесполезно. Судьба есть судьба, я слишком далеко уже ушел. У меня никогда не будет всего этого. Не рассядется семья за вечерним столом, и я, адвокат или доктор, не расскажу, какое у меня сегодня было сложное дело или какая трудная, но интересная операция.

Я подонок. Я получаю Вэлфэр. Сейчас мне нужно питать себя — жрать щи. Я один, мне нужно помнить о себе. Кто обо мне еще позаботится. Ветер хаоса, жестокий, страшный, разрушил мою семью. У меня тоже есть родители — далеко, полоборота земного шара отсюда, на зеленой улочке Украины — папа и мама. Мама всегда пишет мне о природе — когда расцвели вишни под окном и какое вкусное варенье она сварила из абрикосов, которые они когда-то с папой сажали под окнами, вкусное, твое, сын, любимое варенье, но вот есть его некому. Больше родственников у меня, Эдички, нет. В войну погибли мои дядья и деды. Под Ленинградами и Псковами. За народные интересы. За Россию бля.

От моих жен и подруг я перенял кое-какие привычки и с ними живу. По утрам я пью кофе и одновременно курю сигарету. В сущности, плебейский мальчик, дворняга, я перенял эту привычку у Елены. Живу.

Жизнь сама по себе — бессмысленный процесс. Поэтому я всегда искал высокое занятие себе в жизни. Я хотел самоотверженно любить, с собой мне всегда было скучно. Я любил, как вижу сейчас — необычайно, сильно и страшно, но оказалось, что я хотел ответной любви. Это уже нехорошо, когда хочешь чего-то взамен.

Все потерявший, но ни хуя не сдавшийся, я сижу на балконе и смотрю вниз. Сегодня суббота, на улицах пусто. Я смотрю на улицы и не спешу. У меня много времени впереди.

Что со мной будет конкретно ? Завтра, послезавтра, через год ?

Кто знает. Велик Нью-Йорк, длинны его улицы, всякие есть в Нью-Йорке дома и квартиры. Кого я встречу, что впереди — неизвестно. Может, я набреду на вооруженную группу левых экстремистов, таких же отщепенцев, как и я, и погибну при захвате самолета или экспроприации банка. Может, не набреду и уеду куда нибудь, к палестинцам, если они уцелеют, или к полковнику Кадафи в Ливию, или еще куда — сложить Эдичкину голову за каких-то людей, за какой-то народ.

Ведь я парень, который готов на все. И я постараюсь им что-то дать, свой подвиг. Свою бессмысленную смерть. Да что там постараюсь. Я старался тридцать лет. Дам.

На глаза мои от волнения навертываются слезы, как всегда от волнения, и я уже не вижу Мэдисон внизу. Он расплывается.

— Я ебал вас всех, ебанные в рот суки ! — говорю я и вытираю слезы кулаком. Может быть, я адресую эти сдова билдингам вокруг. Я не знаю.

— Я ебал вас всех, ебанные в рот суки ! Идите вы все на хуй ! — шепчу я.

ПРО БАБОЧКУ ПОЭТИНОГО СЕРДЦА

" Меня неприятно поразил тот факт, что среди ваших авторов находится Лимонов — человек, запятнавший себя печально известным письмом против А.Д. Сахарова. Да и его участие в демонстрации у " Нью-Йорк Таймс " тоже пахнет провокацией ".

(из письма в редакцию)

" И в стихах, и в прозе всегда пишу о себе, потому пожалуй, что лучше всего этого человека изучил. Если мне не изменяет память, все ситуации невымышлены. Я только упростил многие вещи, многое убрал ".

(из письма Лимонова автору статьи по поводу романа " Это я — Эдичка ")

*Все вы на бабочку поэтиного сердца
Взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.*

В. Маяковский, " Нате ".

Того не принято в приличном обществе, чтобы напечатав роман, тут же вставлять автору критику. Но да простит нам подобную бестактность почтеннейшая публика, поэт Лимонов и муза, его покровительница, однако иначе у нас концы не сойдутся с концами. Ибо назначен наш журнал прежде всего для советского читателя, а тому уж если фея самиздата один номер прочесть поднесет, то о следующем может и не позаботиться. Так что прочтет наш читатель либо роман без критики, что еще куда ни шло, либо критику без романа, что уж вовсе нелепо.

Роман далеко не обладает той чистотой стиля, которая свойственна стихам этого поэта. Должен признаться, что редакции нелегко было печатать этот роман без купюр, сохраняя все выпады автора против людей, которые ни с нашей точки зрения, ни с точки зрения, очевидно, большинства читателей такого обращения не заслуживают. Если бы это была конструктивная критика — то ради Бога. Но ведь здесь зачастую почти что ругань. Мы напечатали этот роман по двум соображениям. Во-первых, русский и особенно советский читатель имеет право быть ознакомленным со всем современным политическим спектром: от крайне левых и коммунистов вплоть до фашистов. Мы всегда будем полемизировать с ними, но никогда — цензурировать и искажать их взгляды. В настоящем случае мы предоставляем читателю возможность

ознакомиться с крайне левыми взглядами в сумбурном, правда, изложении. Вторых, мы печатаем этот роман потому, что Лимонову, пожалуй, первому удалось описать новую эмиграцию глазами действительно эмигранта (хотя, конечно, картина сильно сдвинута в мрачную сторону), а не глазами романтического туриста, ахающего на архитектурные прелести, витрины и рестораны. Роман Лимонова — это очень откровенный человеческий документ. Так воспользуемся этим качеством и распнем бабочку поэтиного сердца для всеобщего обозрения, в поучение и назидание.

Но сперва по самому жгучему вопросу: зачем такие выражения? Лет 15 назад я прочел первоклассный роман нью-йоркского негра Джеймса Болдуина "Another Country", где я впервые ознакомился с американским матом в весьма полном изложении. Должен сознаться, что роман я с тех пор подзабыл, но ругательства помню.

Французское слово "cop", тождественное русскому "п...а", я впервые прочел — нет, не на заборе, а в "L'Express", наиболее уважаемом французском журнале. Там этим словом Федерико Феллини обзывал Казанову, который, оказывается, был ему глубоко антипатичен. Так что по части таких средств художественной выразительности Лимонов новатором не является, а лишь заполняет пробел в отечественной словесности. Опасность грозит, однако, с совершенно другой стороны. Дело в том, что ругательства, легализуясь, теряют силу и ругаться становится нечем. Так что вводя родной мат в родную литературу, мы рискуем оставить родной народ без ругательств. Редакция снимает с себя всякую ответственность за такого рода последствия и возлагает ее на Лимонова и подобных авторов. Дело редакции — печатать: все, что кто-либо посмеет написать, мы посмеем напечатать.

Покончив с вопросом о ругани вообще, перейдем к обсуждению ругани, переходящей на личности. Возмущение узкого круга широкой общественности, который прочел роман и ознакомился с выпадами Лимонова против Солженицына, Сахарова, Литвинова и против радиостанции "Свобода", вполне понятно. Но не вполне понятно, каким образом изящный поэт, который всегда представлялся таким "нашим", оказался способным на столь убогую ругань. Святых для нас нет и критиковать можно кого угодно и за что угодно, но не как угодно. При сочинении этой статьи перо мое неоднократно рвалось возражать и разъяснять Лимонову, но после нескольких строк начинало запинаться и наконец останавливалось в полном недоумении: я всякий раз оказывался на уровне столь примитивной полемики, на котором не привык работать.

Мне скучно разжевывать, что Солженицын и Сахаров никого на Запад не звали (Солженицын скорее настаивал, что свою свободу нужно отстаивать, оставаясь на месте), они просто утверждали, что среднему американцу, например, живется легче, чем среднему советскому человеку, и это святая правда, но пока эмигрант станет этим средним американцем — проходит период приспособления и перестройки, который для одних оказывается легким, для других мучительным, для третьих невозможным, так что перед тем, как паковать чемоданы, следует сесть и подумать, чтоб потом Сахаров не оказался во всем виноват. Мне скучно писать, что если допустить, что радио "Свобода" не на 100 % объективно (да возможна ли такая организация на свете?), то уж московское радио минимум на 80 % необъективно, и почему же тогда редактор "Свободы" — это, по Лимонову, предатель своего народа, а сотрудник московского радио — это служитель своего народа? Если же я сейчас начну сомневаться в достоинствах полковника Кадафи как вождя левого движения и на полном серьезе спорить с тактикой захвата самолетов, то сам рискую попасть в смешное положение. По этой причине я вынужден оставить большинство нападок Лимонова неотомщенными.

К тому же вряд ли человек такого ранга, как например, Сахаров, особенно нуждается в том, чтоб я защищал его от Лимонова.

Вместо того, чтоб заниматься детской полемикой с поэтом, нам с вами, мыслящий читатель "Ковчега" (а у "Ковчега" не может быть немыслившего читателя), нам с вами было бы интереснее понять источник враждебности Лимонова к Западу вообще и к советским диссидентам в частности. Мне лично тому очень способствовала бы дружеская беседа с поэтом на базе давнишнего краткого, но памятного знакомства. За неосуществленностью таковой я вынужден ограничиться перечислением общих соображений, следующих из романа, как очень искреннего документа, и из наблюдений над последнего разлива эмиграцией, настроения известной доли которой (особенно по части недовольства) автор вполне адекватно отражает. У меня нет уверенности, что все нижеперечисленное применимо к Лимонову.

1. Крах поэтической карьеры на Западе (во всяком случае в момент написания романа), в чем обвиняется Запад, к себе поэта заманивший при соучастии диссидентов. И здесь Лимонов прикасается к драме, может быть, не его одного касающейся, может быть, многих. Возможна ли вообще трансплантация писателя или поэта? По всей видимости, неплохо переносят переезд художники. Хорошо чувствуют себя на Западе музыканты. Совершенно необходимо повидать другую половину мира философу. Но писатель? Он никогда не поймет жизни чужого народа так, чтобы о ней писать и никогда не освоит чужой язык настолько, чтоб на нем писать (разве что если знал его с детства). Пульс родины будет слабеть для него, свежесть языка стираться в памяти. Разумеется, он сможет писать так, как ему заблагорассудится, но для кого? Здесь нет нужного ему читателя — он будет петь в пустоте. Переехав, он рискует потерять самое для него дорогое — его творчество — ради которого он хотел жить. Существуют и другие мнения на этот счет, но в одном я убежден твердо: ни один молодой писатель или поэт не должен покидать родины, не прочтя страницу 18 этого романа. Ибо, насколько я знаю, ничего лучше на эту тему написано не было.

2. Шок свободы. Впервые почувствовав свободу и политическую безнаказанность, эмигрант, подобно сжатой пружине, начинает разворачиваться и к месту и не к месту бунтовать, хотя в Союзе сидел тихо. С некоторыми такое бывает.

3. Эмигрантская капризность. Америка и особенно Израиль нянчатся с эмигрантами. Поэтому эмигранты ходят вечно недовольные, надутые и сердитые. Европа тоже принимает эмигрантов, но за неизменной вежливостью европейского чиновника эмигрант безошибочно распознает его мысли: "Хорошо. Если вы так настаиваете, можете оставаться у нас, и мы дадим вам все практически необходимые гражданские права. Но если бы вы передумали и убрались отсюда возможно дальше — это было бы очень полезно с вашей стороны: у нас и без вас иностранцев хватает". Так вот, в Европе эта надутость и недовольность слетают с эмигрантов мгновенно.

4. Лимонов пишет: "Среди нас много сумасшедших, и это естественно". Воистину это естественно. Одним из первых снимается с насиженных мест профессиональный неудачник (он же порою и сумасшедший): терять ему нечего, на родине его не оценили, стало быть, "там" непременно оценят. Человек работоспособный преуспевающий, достигший определенного положения еще десять раз подумает, прежде чем бросать все и начинать на Западе с нуля. Неудачник же летит, как саранча. Но на Западе он, разумеется, неудачником и остается, отчего и клянет мир пуще прежнего. Относительно высокий процент социально неприспособленных людей порою придает эмиграции истеричный оттенок. Разумеется, в эмиграции много и очень способных людей, и к Лимонову этот пункт никакого отношения не имеет.

5. Реакция на чрезмерно пропагандистский характер эмигрантской прессы. В СССР нас учили любить Ворошилова, Молотова, Хрущева и т.д., и попробуй пикни

против. Здесь нас обучают поклоняться Солженицыну, Сахарову, Буковскому и т.д. и попробуй пикни против. В душе у измученного пропагандой советского беженца ворочается полусознанное: оставьте нас в покое с вашим кумиротворчеством, нам это дело уж под завязку.

6. Своего рода ревность художественной эмиграции по отношению к политическим диссидентам. Первые заявляют (или думают) примерно следующее: "Хорошо. Допустим, у них есть мужество и порою кое-какие публицистические способности, но у нас — талант. Почему же первым такой почет, а на нас — ноль внимания?" Запад охотно бы обращал ноль внимания и на тех, и на других, будь политическая ситуация иной. В обстановке непрекращающегося натиска социал-коммунистов Запад остро нуждается в контраргументах. Коммунисты стараются (и небезуспешно) продать народу мечту: свобода, равенство, братство и т.д. Что можно им противопоставить? Рассуждения, логику? Но народ словам не верит (он больше мечтам верит). Поэтому чуть ли не единственным действенным аргументом оказывается перст, красноречиво указующий на Восток как на реальный результат коммунистических мечтаний. Сюда же очень удачно прилагается наглядное пособие (особенно по телевидению) в виде диссидента (чем больше пострадавшего, тем лучше) в качестве конкретной жертвы режима. Благодаря этому политические диссиденты получают огромную рекламу, которой так завидуют и которая так нужна поэтам, художникам и тому подобному люду. Так что как уж тут удержаться и не врезать: "Удачно сидел в тюрьме или психбольнице там — получай деньги здесь" (стр. 50 сего романа).

7. Наконец, левизна Лимонова. Для него лично это, разумеется, основная причина его воинственности, а для нас — основной предмет анализа: действительно, что это за белая, то бишь красная ворона, к тому же крайне левая, на нашем дружно правом эмигрантском фоне? Может, кто скажет, что это правильно рассчитанная самореклама: чтоб выделиться на фоне правых, нужно быть левым. Видно, не без того, но осуждать за это Лимонова я не могу: если множество эмигрантов делают карьеру на правой пропаганде и долдонят то, что от них хотят, то почему бы парню не попытаться сделать свой частный бизнес, играя в левого. Но дело в том, что он не играет в левого, — он и есть левый. Левизна — это не отдельная черта характера (одну черту можно было бы и имитировать), левизна — это комплекс черт, а его невозможно подделать.

Вот те свойства личности, которым Лимонов обязан своей левизной:

а. Наш герой не гнушается никакой работы, какой бы малопочтенной в глазах почтенной публики она ни была: басбой, портной, грузчик, землекоп ("я был небрезглив"). С нашим братом интеллигентом это бывает нечасто. Наш интеллигентный брат в эмиграции нередко попадает в затруднительное положение: языку иностранному его интеллигентство еще недостаточно обучены, посему по специальности их работать не берут, а заняться на время черной работой им ихнее достоинство и честь не позволяют. Однако, неверно было бы заподозрить, что наш герой лишен самолюбия. Просто оно у него не такое мелочное, как у большинства. Он не страшится потерять лицо, занимаясь чем-то для интеллигента неподобающим. Его внутренняя самооборона строится по принципу: хорошо, днем я басбой, грузчик, словом, дерьмо по-вашему, зато вечером я поэт, волшебник, гений, и тогда уже вы дерьмо передо мной.

Но игра в обиженных мира сего не проходит безнаказано. Перевоплощаясь, проникаешься их заботами, а, стало быть, и сочувствием. Потому, шагая на работу, и бормочет наш герой строки Блока:

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули,

И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели...

В свое время я тоже все повторял в точности эти же строчки.

б. Наш герой не чурается дружбы, вернее, приятельства с низшими мира сего : тут мы наблюдаем басюба Вонга, пару негров, Джон-Ивана и др. Такое поведение героя определяется вышеупомянутым свойством а, известной долей бравады и известной долей внутреннего великодушия. Никто из них, конечно, не становится для него настоящим другом, хотя Эдичка на то охотно бы пошел из одной только бравады, к примеру, но культурная пропасть, разделяющая их, не позволяет случиться этому. Что касается великодушия, то если верить Эдичке на слово, великодушия ему не занимать : " Именно потому, что я не эгоист, я и подыхал, лежа на Лексингтон, ты же видел, как я там подыхал, в каком виде я был. А был я такой, потому что внезапно потерял смысл моей жизни — Елену, мне не о ком стало заботиться, а для себя я жить не умею ". " Я ждал Джонни. Во мне было какое-то упрямство любви и всепрощения. Я думал : конечно, он подонок, шестерка, все его гонят, тем не менее я должен быть здесь и ждать его, я должен быть с ним. Может, это и была чепуха, но нечто заставляла меня сидеть здесь и ждать этого бродягу и не идти спать в отель. Нечто очень сильное. Может, его, всеми гонимого, мне хотелось пожалеть. " И можно продолжать далее в том же духе. Однако, заметит проницательный читатель, если верить всем на слово, то невеликодушных людей вообще не сыщешь. Так-то оно так, но уж как-то необычно настойчив Лимонов именно по этому пункту, так что не будем препираться, сочтем, что дыма без огня не бывает, и отпустим Лимонову великодушия немного сверх нашей обычной скудной нормы.

с. Наш герой выдает следующую замечательную фразу : " Нужно тотально смешаться всем национальностям, отказаться от национальных предрассудков — " крови " и тому подобной чепухи, во имя единения мира, даже во имя того, чтобы прекратились национальные войны, даже ради этого одного стоит смешаться. Смешаться биологически, сознавая опасность национальностей. Евреи и арабы, армяне и турки — хватит всего этого — нужно остановиться наконец ". В наше время победоносного национализма такое услышишь не часто. Но на самом деле такой фразе в устах Лимонова удивляться не следует. Ведь что есть националист, точнее что есть глубинно подсознательного в каждом истинном националисте ? В нем есть неодолимое стремление отгородиться от посторонних, от чужаков. Но как раз отсутствием этого стремления и определяются вышеупомянутые свойства а и б изучаемого нами объекта. Вот как ладно у нас сходятся концы с концами.

Теперь придадим нашим рассуждениям модный наукообразный вид и составим следующее, доступное одним только математически образованным людям предложение : свойства а, б и с необходимы, но недостаточны для того, чтобы стать типичным левым человеком (именно типичным, потому что всякие бывают левые). Необходимо еще одно свойство, свойство d. Поэтому повернем другой стороной любезный предмет нашего изучения (любезный потому, что он весьма любезно представляет рассматриваемый себя с разных сторон). Итак, перевернем наш предмет, нашу бабочку на другую сторону и изучим на ней начертания, составляющие свойство d.

" Из моего окна виден отель " Сан-Реджис Шератон ". Я с завистью думаю об этом отеле. И безосновательно мечтаю переселиться туда, если **разбогатею** ".

" " Вери аттрактив леди " напечатала свое объявление в " Вилледж Войс ". Ей 39 лет, она хочет компаньона для путешествия по маршруту Париж, Амстердам, Санта-Фе и так далее. Маршрут мне подходил, о чем я и написал леди. Я до сих пор жду ее ответа. А что, это был шанс выплыть, попасть из искусственной жизни,

которой я сейчас живу, **в настоящий мир**".

"Как тебе не стыдно, Эдичка, ведь ты же русский поэт, это **каста**, дорогой, это мундир, ты уронил честь мундира".

"Еще год назад я дружил с послами нескольких стран, веселился с ними на закрытых вечеринках".

О Елене: "Провинциальное желание **превзойти всех**. Стать самой-самой. Впрочем, я такой же".

О Ив-Сен-Лоране: "Оделся Раймон очень изящно — бархатный черный пиджак от Ив-Сен-Лорана".

"Ив-Сен-Лоран, Марден — эти красиво звучащие фамилии были мне знакомы еще в Москве. От Ив-Сен-Лорана, например, брал все свои вещи Луи Арагон — член ЦК ФКП. Об иссенлоранности Арагона говорила мне Лиля Брик, знаменитая Лиля, мой друг — женщина, вошедшая в историю как любовница великого поэта Вовки Маяковского".

Уважаемый господин-товарищ поэт Лимонов, какого черта вы так упорно лезёте к читателю с этим Ив-Сен-Лораном? Ну да, вы любите одеваться, понимаете толк в одежде, поэтому, естественно, вам знакомы различные фирмы и ... и вы прекрасно знаете, что продукция крупных фирм стандартизована, и как раз обожающий одежду человек туда одеваться не пойдет. К Ив Сен-Лорану пойдет одеваться прежде всего человек состоятельный, чтобы никто не спутал его с не состоятельным. Так что ж, именно этим мы восхищаемся, господин-товарищ левый поэт, — левый, потому что не мог стать правым, лево-правый поэт Лимонов? Что может быть грустнее! И вместе с тем, что может быть откровеннее признания, что он не в состоянии жить "жизнью простого человека, не претендуя ни на что и видя вокруг себя деньги, удачу, славу..."

Вернемся к нашей математике, ибо мы решили поставленную задачу: для того, чтобы быть типичным левым человеком, нужно обладать свойствами a , b , c , т.е. известной открытостью характера, неотгороженностью от других, известной мерой великодушия и одновременно необходимо обладать свойством d , т.е. повышенной чувствительностью к социальному положению, престижу, к социальной иерархии или уж совсем попросту говоря — завистью.

Мы закончили препарирование бабочки поэтиного сердца. Мы произвели только одно сечение, рассмотрели только одну плоскость: мы изучили, как это сердце реагирует на социальное неравенство, на социальную иерархию. В поэтиной личности, как и во всякой, еще много других сечений, граней и плоскостей, но они мне неясны и о них я ничего сказать не могу. Я не знаю, например, почему Эдичка "крови хочет", "пострелять ему хочется". Рассмотренным же нами вопросом я интересовался всегда, и в этой плоскости Лимонов мне прозрачен.

Мы изучили поэта себе в назидание. Каким же будет это назидание?

"Я хотел быть равным среди равных", — говорит левый Лимонов.

"Мы хотим быть равными среди равных!" — кричит левая толпа. — Погодите, постойте, куда же вы, как же у вас это получится? Если бы вы хоть были людьми просто равнодушными к социальному неравенству, его не замечающими, живущими в какой-то иной плоскости, тогда, может быть, стоило бы попробовать. Но у вас же все наоборот! Ведь все ваши вожди, все ваши лимоновы — как раз люди чрезвычайно реагирующие (чрезвычайно падкие) на социальную иерархию. Как же в случае победы им удержаться и по вашим спинам не...

Хотят ли лимоновы равенства? Хотеть-то они, может, его и хотят, но судите сами как:

"Мои интересы лежат где-то в области полурелигиозных коммунистических

коммун и сект, вооруженных семей и полевозделывающих групп". Америка — не Советский Союз, там до черта любых религиозных и нерелигиозных коммун, сект и вооруженных семей. Почему же мы не наблюдаем в них нашего героя? Ясно почему — если из всякой нью-йоркской коммуны он будет видеть небоскребы, битком набитые богачами, то на кой ляд ему эта коммуна? Вообще главная причина коммунистических порывов-попыток Лимонова совершенно прозрачна: если уж не сумел получить больше других, то пусть всем будет поровну, чтоб ничье богатство меня не раздражало, не мучило. В этом отношении уход в коммуны аналогичен уходу людей определенного типа в монастырь. А именно, люди сильных, неудержимых страстей порой спасаются в монастырь, чтоб уйти от искушения, опасаясь, что их страсти могут разрушить их. Можно только вообразить, в какой сумасшедший дом превратилась бы церковь, если бы она сплошь состояла из такого рода людей. Но левое движение почти целиком состоит из людей, подверженным иерархическим страстям. Может быть, поэтому правление левых, дорвавшихся до власти, порой напоминает сумасшедший дом.

Эдичка, вы думаете, что вы написали левый роман, Эдичка? Да, может быть, левый роман — для простаков. Для внимательного же читателя вы написали хорошее пособие по левой психологии, по противоречивости и несостоятельности левых позывов. Вы были честны и откровенны, как мало кто может, и потому вы написали правый роман, Эдичка.

Кому-нибудь может показаться, что я смеюсь над Лимоновым. О нет, я восхищаюсь Лимоновым.

"Самая дешевая пища, не всегда вдоволь, грязные комнатки, бедная, плохая одежда, холод, водка, нервы, вторая жена сошла с ума... Ведь я десять лет работал там изо дня в день, написал столько сборников стихотворений, столько поэм и рассказов, мне удалось многое. И русские люди меня читали, ведь купили мои восемь тысяч сборников, которые я на машинке за все эти годы отпечатал и распространил, ведь наизусть повторяли, читали".

"Сборники эти оптом по 5-10 штук продавал я своим ближайшим поклонникам-распространителям. Обычно самиздат идет бесплатно, я единственный, кто продавал таким образом свои книги".

"В моей стране я был один из лучших поэтов".

"Поэт — самая значительная личность в этом мире".

"Моя профессия — герой. Я всегда мыслил себя как героя. Даже книгу с таким названием еще в Москве написал: "Мы — национальный герой".

"... мое бешеное желание во что бы то стало втиснуть свое имя в историю своей страны, а еще лучше — мира" (*неопубликованная часть романа*).

Ну разве это не прекрасно: желание быть непременно лучшим, быть обязательно первым! Не знаю как вы, а я обожаю таких людей, я преклоняюсь перед ними. И в знак своего восхищения дал им название: homo hieraticus — человек иерархический, человек, который стремится вверх. Человек, который повинуется зову этой безумной трубы — быть первым!

У кого протянется рука вынуть из Лимонова эту пружину, толкающую его вперед, толкающего его быть первым среди неравных. Это все равно, что оскотить его. Наверное, он знает это. Поэтому мы не находим его ни среди "вооруженных семей, ни среди полевозделывающих групп".

Ждет ли Лимонова слава — неизвестно. Во многом это дело случая. И не важно. Важно, что еще миллионы и миллионы молодых людей, повинувшись тому же зову, изо всех сил стремятся быть первыми поэтами, первыми писателями, первыми изобретателями, национальными героями. Немногим это удастся, но и это не важно.

Важно, что их усилиями стремительно движется вперед наша цивилизация, что на самом деле они кладут свою жизнь за нашу цивилизацию.

Но все же...

Мы поняли, мы разобрали **причину** левизны Лимонова со всеми его порой невыносимо наивными левыми монологами, но все же было бы недобросовестно тем самым отмахнуться от **сути** этих монологов. Нам с вами ясно, что весь этот не особенно гармоничный и довольно жесткий (жестокый ?) современный мир необходим для быстрого развития нашей цивилизации. Но такой ценой нужно ли нам быстрое развитие нашей цивилизации ? Самое интересное и самое удивительное, что ни у кого и никогда я не читал лучшего ответа на этот вопрос, чем у самого Лимонова, у басбоя Лимонова, в этих его неуверенных и странных фразах :

" ... чтобы от всеобщего убийства жизни работой избавиться ". " И до сих-пор никто не предложил ничего иного, никто не знает, как отменить само понятие " работа ", покуситься на основу, вот тогда будет настоящая революция, когда понятие " работа ", имеется в виду работа для денег, чтобы жить, исчезнет ".

Ведь у левых корифеев : Маркузе, Жан-Поль Сартра и прочих такого не прочтешь. Они и не поймут этого. Они ведь, эти самые Маркузы и Жан-Поль Сартры, в сферах витают, и им оттуда мало что видно и понятно. Они ведь толком не знают, что такое унижение басбоя в ресторане, что такое тоска матроса в море, они ведь на своей шкуре не испытали, что значат эти бесконечные томительные часы, рабочего дня часы, не приносящие ничего, кроме хлеба, часы, вычеркнутые из жизни — это действительно убийство жизни работой, иначе не скажешь. Что тут можно сделать ? Труд рабочего не меняется в результате революции, потому что труд рабочего — это основа жизни и с этим шутить нельзя. Единственно, что можно сделать — это сократить эти часы. За столетие длительность рабочего дня сократилась вдвое. За счет чего ? Прежде всего за счет развития техники. Таким образом то, что мы можем сделать для рабочего (и для нас самих) и что реально и сравнительно несложно — это обеспечить возможно более быстрое развитие техники. А для этого нам нужна наша нынешняя динамичная и для многих столь несправедливая западная цивилизация. И кто знает, может быть, в конце пути, когда человека уже не нужно будет подстегивать и заманивать всеми нынешними престижноиерархическими уловками, может быть, тогда нас (вернее, их) ждет какой-то другой мир, может быть, что-то в духе лимоновских грез...

А до тех пор нужно потерпеть, господа, — впрочем, господа терпят и с большим удовольствием. До тех пор нужно потерпеть, товарищи.

" Лимонов — человек, запятнавший себя печально известным письмом против Сахарова ". " Лимонов — вообразивший себя гением ". " Лимонов — агент КГБ ". " Лимонова ни в коем случае печатать нельзя "... О грубые люди и глупые политики, зачем вы ругаете Эдичку ? Как вы не понимаете, что печатать Эдичку нужно, что Эдичка нужен нам. Нам нужно это как символ, как доказательство нашей вольности, нашего свободомыслия и нашей никому незапроданности.

В ЭТОМ НОМЕРЕ

Эдуард Лимонов родился в 1943 г. в г. Дзержинске Горьковской области. Учился в Харьковском университете. С 1967 г. жил в Москве. В 1974 г. эмигрировал в США, живет в Нью-Йорке. Опубликованные стихи : " Грани " № 95, 1975 ; " Ковчег " № 1, 1978 ; " Континент " № 15, 1978 ; " Эхо " № 1, 1978 ; Die Pestsaule, april/mai 1973, Wien ; Freiheit ist Freiheit, Inoffizielle sowjetische Lyrik, Die Arche, Zürich, 1975 ; Index on censorship, Summer 1976, London ; Modern Poetry in Translation, № 31, Summer 1977, London ; готовится к печати сборник стихов, Ардис, США. Проза : " Мы — национальный герой " в альманахе " Аполлон-77 ", Париж ; " Секретная тетрадь " (отрывки), " Эхо " № 3, 1978. Около 20 статей опубликовано в " Новом русском слове " за 1975г.

Арвид Крон родился в 1936 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский университет. Кандидат физико-математических наук. Работал в институтах АН СССР в Ленинграде и Москве в качестве старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией. В 1974 г. эмигрировал из СССР. Живет в Париже. Статьи публиковались в газете " Русская мысль ". Статья " По ту сторону марксизма " опубликована в " Ковчеге " № 1.

Представители журнала

США. Ludmila Bokov
535 West 111 Street, Apt. 5
New York, N.Y. 10025
Tel. : 865.11.64

Yuri Lechtholz
8854 Alcott Street, Apt. 5
Los Angeles, California 90035
Tel. : 552.90.83

Израиль. Irina Grobman
28/7 Ephraim str., Bak'a
Jerusalem
Tel. : 712-493

3